

ЗАБОЛОТНЫЙ



*Глеб
Толубев*



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

-
-
-
-
-
-
-
-

- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 18

(351)

МОСКВА

1962

Глеб Голубев

**ЖИТИЕ
ДАНИИЛА ЗАБОЛОТНОГО**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

М., «Молодая гвардия», 1962



В старости одолевают воспоминания. Чем меньше остается жизни впереди, тем все чаще тянет оглянуться, проверить, взвесить ее — не напрасно ли прожита. Заново переоцениваешь свои дела и проступки, вспоминаешь дороги, по которым ходил, людей, события, встречи. Эта напряженная и волнующая умственная работа не прекращается даже во сне.

Сегодня мне приснилось почему-то самое раннее детство и бабушка. Она у меня была религиозной и почти каждый вечер, закончив дневные заботы, читала мне перед сном жития святых. Такой я и увидел ее нынче во сне: в лянном платочке горошком, с лицом морщинистым и темным, она сидела в углу под образами и протяжно, слегка нараспев, читала пухлую книжищу в засаленном переплете, время от времени строго поглядывая на меня поверх очков:

— «Бе человек в Риме, муж благочестив именем Ефимьян и жена его Аглаида при Онории и Аркадии славныма цесарема римскима, велик быв в боярех, богат зело...»

А потом, по какой-то странной ассоциации, еще не раскрытой до конца психологами, мне приснился мой учитель, Даниил Кириллович Заболотный. Я увидел его опять молодым, каким встретил впервые осенним днем далекого 1896 года.

Проснувшись, я весь день, чем бы ни занимался, все время думал неотступно о Данииле Кирилловиче, вспоминал встречи с ним, даже словно слышал его глуховатый голос и радостный, залиvistый смех. И давнее желание рассказать всем об этом удивительном человеке властно потянуло меня к письменному столу. До сих пор я как-то все откладывал это «на потом». Но теперь воспоминания охватили меня, — так и родилась эта книга.

И еще я подумал: написав ее, я выполню завет Алексея Максимовича Горького, который столько раз говорил, слушая рассказы Заболотного: «Очень надо было бы написать книгу о вашей жизни, об учителях ваших и учениках...»

Я врач, медик, а не литератор и писал ее урывками, вечерами, без строгого плана, как говорится, «по вдохновению». Порой как-то так получалось, что в воспоминания вплетались мои сегодняшние мысли и раздумья, — надеюсь, читатель не посетует на меня слишком строго за это.

Долго я выбирал название, — оно, может быть, удивит некоторых своей старомодностью. Но его подсказал все тот же сон с бабушкой.

Жития святых... Каких только подвигов не совершали праведники в рассказах бабушки, чтобы доказать богу свою святость: и вериги носили, и в пустыню удалялись, и годами на одной ноге на верхушке столба стояли на манер аиста! Преподобный Феодосий, обнажившись до пояса, отдает свое тело на съедение оводам и комарам. Днем и ночью он носит власяницу и никогда не спит «на ребрах», а только «сед на столе», то есть сидя на стуле.

А зачем? Какую, спрашивается, пользу принесли они этими «подвигами» людям?

А вот перед вами жизнь, целиком, — до последнего дыхания, растаявшего на холодном зеркале, которое я держал в своих руках в тот прощальный час, — вся жизнь, без остатка, щедро отданная людям.

Даниил Кириллович Заболотный тоже частенько спал сидя, хотя это ему вовсе не нравилось, кормил своей кровью комаров в астраханских плавнях, замерзал и голодал, ухаживал за несчастными, рискуя каждую минуту смертельно заразиться от них при одном неосторожном, слишком глубоком вдохе. И все это он делал ради совсем не знакомых ему людей: русских, украинцев, индийцев, китайцев, арабов — ради всех людей на земле. Ради того, чтобы «уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений». Эти слова Писарева он очень любил и частенько повторял.

Благородная, поистине героическая жизнь-подвиг, спасающая сотни тысяч людей... Как назвать ее иначе, если не этим старинным и

торжественным словом: житие?

КАК СТАНОВЯТСЯ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ

Познакомились мы с Даниилом Кирилловичем Заболотным осенью 1896 года, когда я поступил учиться на медицинский факультет Киевского университета. Кафедрой общей патологии руководил тогда знаменитый клиницист профессор Подвысоцкий, а Даниил Кириллович был у него ассистентом.

Много лет минуло с той давней поры — и каких лет! — целая эпоха... А я как сейчас вижу Заболотного, каким он впервые вошел в нашу аудиторию: высокий, слегка сутуловатый, с рыжеватыми редкими волосами, всегда небрежно всклокоченными. Из обшарпанных обшлагов выгоревшего военного сюртука далеко высовываются слишком длинные руки с удивительно гибкими, подвижными пальцами. Сколько раз потом эти чудодейственные пальцы мелькали у меня перед глазами, поражая изяществом, с каким Заболотный поразительно ловко обращался с пробирками, пинцетами, шприцами! А как эти руки успокаивали больного, мечущегося в бредовой лихорадке, ласково поглаживая его пылающий лоб!

Еще очень красивы были у Заболотного глаза — голубые, какие-то детские, всегда живые, полные мысли и доброты.

Был он тогда молод — всего тридцать лет! — держался застенчиво, часто смущался, особенно под нашими испытующими взглядами. А рассматривали мы все его особенно-пристально и придирчиво. Шутка ли: всего на несколько лет старше нас, а уже успел и в тюрьме побывать за участие в студенческих волнениях и два факультета закончить — естественный в Одессе и медицинский здесь, в Киеве! У него уже есть напечатанные научные работы и в то же время богатая практика работы земским врачом где-то на Подольщине.

И, несмотря на молодость, Заболотный очень принципиален и не боится критиковать общепризнанные авторитеты, — это нам тоже нравится. У нас по рукам ходит выписка из его недавней статьи в газете «Врач» с резкой, но вполне заслуженной отповедью известному профессору А. Д. Павловскому:

«Теперь уже прошло время, когда наука находилась в руках определенной «касты» жрецов, и из скромных уголков нередко выходят прекрасные работы... В стенах университета, которые я недавно оставил и

лучшие предания которого еще не успел забыть, нас учили, что научные истины не решаются авторитетом одного человека, что они подготавливаются кропотливой работой многих исследователей и что слепая вера в авторитеты не раз бывала причиной глубоких заблуждений...»

Но, пожалуй, больше всего привлекает нас в молодом преподавателе та геройская слава, которая уже окружает его. Мы знаем, что, работая земским врачом и спасая заболевшего крестьянского мальчика, Заболотный заразился от него дифтеритом. Его спасла только недавно открытая Берингом и Ру противодифтерийная сыворотка, которую он тут же впрыснул себе.

«...Как это теперь странно звучит: «Недавно открытая противодифтерийная сыворотка!», — невольно ловлю я себя на мысли. Теперь пенициллин и сульфамидные препараты продаются в каждой аптеке и электронные микроскопы делают видимыми даже мельчайшие вирусы. А ведь тогда микробиология только-только нарождалась. Все мы буквально бредили новейшими открытиями Пастера, Мечникова, Ру, Гамалеи и других замечательных «охотников за микробами».

Совсем недавно Роберт Кох открыл возбудителей туберкулеза и холеры. Только что в Одессе начали делать прививки от бешенства и сибирской язвы...

Совершенно неисследованный еще мир впервые открывался перед каждым, кто склонялся в те далекие годы над микроскопом. И ошеломляющие открытия в этом новом, неведомом мире заставляют переувечиваться крупнейших медиков мира. «Теперь я засел за литературные студии микробного мира, — жалуется в одном из писем тех лет прославленный С. П. Боткин, — микробы начинают одолевать старого человека в буквальном смысле слова; на старости лет приходится ставить свои мозги на новые рельсы...»

В 1894 году Заболотный провел вместе со своим другом Иваном Григорьевичем Савченко, ставшим потом также весьма известным микробиологом, очень смелый опыт: для проверки новой лечебной вакцины они выпили бульонную разводку смертоносного холерного вибриона.

Об этом героическом опыте, навсегда вошедшем, как говорится, «в анналы науки», среди студентов ходили легенды. Представляете, как доносили мы нашего молодого ассистента расспросами?!

Но Заболотный смущался еще больше, краснел, заикался и, отмахиваясь, невнятно отвечал:

— Ну, опять вы за свое!.. Неудобно же, господа, мы отвлекаемся от

темы лекции. Ну, выпили холерную разводку, что же тут такого? Ведь это был научный опыт, строго продуманный, застрахованный от всяких случайностей. Не вижу в этом ничего особенного...

И тут же, лукаво подмигнув нам и оглянувшись по сторонам, он неожиданно добавляет:

— Вакцину перед опытом мы пили каждый день чуть ли не в течение месяца. А заедали ее картошкой, которую варили тут же, в лаборатории, прямо в автоклаве. Дуже гарна получалась картошечка, до сих пор ее вкус во рту сохраняется. Рассыпчатая... — И под наш общий смех грозит пальцем: — Но из этого отнюдь не следует, будто автоклав предназначен для варки картошки!

Он любил пошутить. И потом я убедился, что эти шуточные отступления на лекциях были для Заболотного как бы своего рода педагогическим приемом. Ввернет он шуточку или весьма неожиданно процитирует своего любимца Гейне — и утомившиеся студенты вновь оживятся и опять внимательны.

Так от самого Заболотного мы и не могли добиться подробностей знаменитого опыта. Но я был упрям, настойчив и разыскал в архивах кафедры его протокол. Мне кажется, он также много говорит о характере Заболотного, и поэтому я позволю себе привести его здесь почти полностью.

Итак, задача заключалась в том, чтобы проверить, может ли предохранить от заболевания холерой лечебная вакцина.

«1 мая, в 11 час. 30 мин. утра, натошак, осреднив свой желудочный сок приемом 100 куб. см. 1 %-ного раствора соды, мы, в присутствии проф. В. В. Подвысоцкого и Ф. А. Леша, а также работающих в лаборатории, приняли в воде по 0,1 куб. см. 24-часовой бульонной разводки холерных вибрионов, выращенных при 37 °С. Чистота разводки была здесь же проверена проф. В. В. Подвысоцким.

Одновременно из этой же пробирки двум взрослым кроликам в брюшную полость было впрыснуто: одному — 0,5 куб. см. разводки, а другому — 1,0 куб. см. Один из кроликов погиб к вечеру, другой — ночью, то есть не дожив до суток.

Наша диета все время после опыта оставалась нормальной. Самочувствие после опыта было вполне удовлетворительным, никаких болезненных явлений не замечалось с самого начала опыта и до последнего времени (9 мая)...»

Вот и все, что Заболотный счел нужным рассказать о своем опыте. Только факты. Смерть была рядом, но об этом ни слова. И таким

Заболотный оставался всю жизнь.

Потом, пройдя с ним бок о бок по многим опаснейшим дорогам, когда жизнь наша месяцами висела на волоске, съев с ним у походных костров не один пуд соли, — потом я понял, что это и есть настоящий, великий, нестигаемый героизм — героизм на всю жизнь, а не на мгновение или на час.

Но тогда, когда мы все были еще молоды, помнится, испытал я вроде некоторое разочарование оттого, что Заболотный держал себя на лекциях так буднично, заурядно. И, может быть, это ошибочное, хотя и вполне понятное ощущение и помешало мне запомнить побольше о встречах с Заболотным в те баснословно давние годы. А жаль: ведь уже совсем не осталось на свете людей, помнивших его молодым. И теперь, нашаривая в памяти отрывочные клочки воспоминаний о тех первых годах, с какой горечью я повторяю нередко мудрейшие слова Пушкина: «Мы ленивы и нелюбопытны...»!

Но, наверное, все мы таковы в молодости. Я только еще «вгрызался» в науку, это отнимало массу сил и времени, целиком владело моими помыслами, и не удивительно, что так мало запомнил о встречах с Заболотным в те годы, хотя и виделся с ним то на лекциях, то на практических занятиях в лаборатории почти каждый день.

Уже тогда меня, помнится, поражало, как это Заболотный так много успевал делать: и в военном госпитале осматривать больных (он был тогда вынужден, занимая должность лекаря 132-го Бендерского пехотного полка, «отслуживать» стипендию, которую получал во время учебы в университете...), и лекции нам читать, и вести научную работу, и помогать Подвысоцкому готовить анатомические препараты к занятиям.

Владимир Валерианович Подвысоцкий, которого Заболотный считал своим учителем и всю жизнь поминал добрым словом, все делал стремительно: почти бегом врывается в аудиторию, еще в дверях начинал лекцию и, то и дело прерывая ее, рисовал на доске цветными мелками пестрые схемы, так что потом весь пол у доски оказывался усыпан меловыми крошками.

Он был действительно блистательным знатоком патологоанатомии и превосходным лектором. И в то же время никогда не подавлял нас, студентов, своей эрудицией. С Подвысоцким всегда можно было поспорить; и при этом Владимир Валерианович каждого заставлял непременно записывать свои утверждения. Записочки он складывал в ящик стола, чтобы потом, порой через несколько лет, когда наука обогатится новыми фактами по теме спора, проверить, кто же оказался прав.

Этот — по-моему, весьма плодотворный — метод у него перенял и Даниил Кириллович. Он тоже всегда в затруднительных случаях не гнушался привлекать к своим исследованиям совсем юных студентов; причем так давал им задания, чтобы другие об этом не знали. И в результате, получая ответы на беспокоивший его вопрос не от одного, а сразу от нескольких помощников, Даниил Кириллович всегда избегал случайных ошибок.

Похоже, что Заболотному передались и некоторые другие черты характера его учителя: увлечение искусством, широта интересов, гостеприимное хлебосольство. Подвысоцкий часто приглашал студентов в гости и радушно угощал нас незатейливым ужином, лично распределяя каждому поровну молоко, ветчину и фрукты.

И Заболотный приглашал нас тоже к себе в гости. Жил он тогда в крохотной комнатеночке, чуть ли не переделанной из какого-то сарайчика, во дворе возле Бессарабского базара. И он сам и его совсем молодая тогда жена Людмила Владиславовна, носившая двойную фамилию Радецкая-Заболотная, принимали нас всегда очень тепло, дружески. Но были они тогда так бедны, что угостить могли только чаем, да и то не всегда с сахаром. Было видно, что живется им несладко, но нам нравилось, как легко относится к этому красивая и изящная даже в простеньком платье Людмила Владиславовна, выросшая в богатой, обеспеченной семье и, не задумываясь, променявшая всякие «выгодные партии» на беспокойную жизнь с нашим Даниилом Кирилловичем в этом отнюдь не райском «шалаше».

В их тесной комнатке всегда бывало шумно и весело, и на столе неизменно стояли в большой вазе цветы, которые Заболотный как-то ухитрялся доставать даже среди зимы, имея гроши в кармане.

Помню, как увлеченно рассказывал нам он тогда о новой знаменитой фагоцитарной теории Мечникова, как шутили, смеялись, спорили, а вот о чем — не помню. Хотя, конечно, весьма заманчиво было бы щегольнуть небрежной фразой:

— Еще тогда Даниил Кириллович говорил мне...

Что он тогда говорил, не помню и врать не буду. Но отчетливо помню, как однажды в конце 1897 года он отвел меня в угол тесной лабораторной комнаты и огорошил совершенно неожиданным предложением:

— Вам не хочется поехать в Индию?

— Куда?..

— В Индию. Там большая вспышка чумы. В Петербурге так перепугались, что даже создали специальную Чумную комиссию во главе с

принцем Ольденбургским...

— Какую? — переспрашиваю я: это странное название кажется мне довольно легкомысленным для столь высокой комиссии.

— Ну, официальное название у нее длинное, как степной шлях, — смеется Заболотный. — «Высочайше утвержденная Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления ее в России». Но все ее называют просто «чумная». Предполагается послать в Бомбей русскую экспедицию. Возглавит ее, видимо, профессор Высокович — дуже добра людина.

«Дуже добра людина»!.. Сколько раз потом я слышал от Заболотного эти слова! Он всегда умел видеть в людях хорошее, и, пожалуй, поэтому ему так часто встречались в жизни действительно «дуже» хорошие люди...

— Нам понадобятся лаборанты, и вот я подумал о вас. По-моему, это интересно, хлопче...

Я невнятно проямлил:

— Конечно, это очень интересно, очень... Но так неожиданно, надо подумать.

Заболотный закивал:

— Конечно, конечно, голубчик, вы правильно говорите, как зрелый ученый: надо все продумать, подготовиться, предусмотреть.

И Заболотный начинает готовиться к этому первому большому странствию в своей беспокойной жизни. Он выискивает по всему Киеву оборудование для походной лаборатории, вместе с Владимиром Константиновичем Высоковичем составляет подробнейшие планы предстоящих научных работ, а по ночам, как рассказывает нам Людмила Владиславовна, усердно учит английский.

Я тоже втянут в кутерьму и суматоху сборов. И как-то так получается, что мое участие в экспедиции уже само собой разумеется, ни у кого не вызывает сомнений.

И вот солнечный февральский день, веселый перестук капли на улицах, шумная толпа на вокзале, и покрывающий все голоса и даже гудки паровозов радостный, ликующий рев медных труб военного оркестра, сверкающих на солнце. Это нас, профессора Высоковича, Заболотного, доктора Редрова и меня, провожают в Индию.

Весь этот шум, трескучие либеральные речи, фанфары так не вяжутся с тем несчастьем, ради которого мы отправляемся за тридевять земель, что сама наша поездка кажется какой-то призрачной, нереальной. Это чувство не оставляет меня и в вагоне, когда мы, оставшись, наконец, одни, распахиваем по полкам экспедиционный багаж.

А за окном мелькают глиняные мазанки с потемневшими от мокропогодицы соломенными крышами, без конца тянутся унылые поля, покрытые грязным подтаявшим снегом. Какая тут Индия!..

И дальше все продолжает мелькать, словно в калейдоскопе: чиновно-строгий Петербург и новые проводы, на этот раз без музыки, но зато с еще более торжественными речами. Потом опять поля, перелески, границы... И вот мы уже мчимся через всю Польшу, Австро-Венгрию, ныряем в альпийские темные тоннели. А за ними — Италия, апельсиновые рощи в полном цвету, промелькнувшие, как во сне, дворцы и лагуны Венеции.

В Бриндизи мы пересаживаемся на грязноватый английский пароход, снова раскладываем вещи, теперь уже по каютным полкам, — и скорое на палубу, на свежий морской ветер!

Заболотный облокотился на горячие поручни, надвинул военную фуражку на самые глаза и что-то тихонько мурлычет себе под нос, бездумно уставившись в синий морской простор.

— «Гунумай се, анасса, теос ню тис э бротос эсси?» — слышу я неведомые слова на певучем незнакомом языке. — «Одиссея», шестая песнь, — улыбается Заболотный в ответ на мой изумленный взгляд. — Я ведь как-никак Ришельевскую гимназию кончил, а она, брат, на всю Одессу славится.

Греция — колыбель человечества! — добавляет он, многозначительно подняв палец и мягко, по-украински выговаривая «г» как «х». — Смотри во все глаза, хлопче, может быть, такого больше никогда не увидишь,

И, ободренный его словами, я смотрю, смотрю на мир до боли в глазах, жадно впитывая красоту моря и неба, и греческих островов, и стройной девушки англичанки, задремавшей под большим зонтом в удобном шезлонге, с книжкой в бессильно упавшей руке.

Но вечером, как ни манят на палубу музыка и веселые голоса танцующих пар, я остаюсь в каюте и подсаживаюсь к Даниилу Кирилловичу, обложившемуся толстыми медицинскими книгами и какими-то справочниками. Я заглядываю через его плечо и вижу странный рисунок: человек в длинном, чуть не до пят, черном балахоне держит в руке чадно дымящий факел. Лица его не видно — словно разбойник, страшась быть узнанным, он закрыл его черным капюшоном, сквозь прорезь которого таинственно и зловеще сверкают глаза.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Наш с вами коллега и предшественник, друже, — отвечает Заболотный, откинувшись на спинку стула, крепко привинченного к корабельному полу. — Так в средние века одевались медики, отправляясь

на борьбу с «черной смертью». Славное одеяние, верно? Чтобы его носить, требовалась отвага, пожалуй, побольше, чем рыцарю. Вот я вам прочитаю заповедь, каким должен быть врач...

Торопливо порывшись в книгах, он находит нужную страницу и торжественно, громко читает:

— «Тонкий и просвещенный ум, обширное знание всех наук, основы которых он изучал с самой ранней юности, глубокое знание своего искусства — вот что является и должно являться основным достоинством лекаря и врача... Врачи должны быть, кроме того, милосердными, сочувствующими, услужливыми, любить своего ближнего, как самого себя, не быть ни скупыми, ни жадными в денежных делах: скупость и жадность — это два порока, позорящие врачей. Словом, чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком!»

Подняв внушительно палец, он прерывает чтение и смотрит на меня. Мне кажется, что голубизна его глаз подернулась какой-то подозрительной влагой, но не успеваю заглянуть в них получше. Заболотный опускает глаза и продолжает читать:

— «Предложить ему быть не нежущимся в пуховиках, но скороподвижнейшим во всякое время и на всякий случай всенепредвидимый. Предложить ему быть человеколюбствующим, сострадательным и входящим для пользы повсенародной во всякообразные подробности. Словом, предложить ему ознаменовать себя толикое заслуживающим внимание повсеместное, чтобы всюду в народе и повсегда ожидали б его, аки бы некоего ангела-хранителя!»

Захлопнув книгу, он закрывает глаза и восхищенно качает головой, приговаривая:

— Какие слова: и повсегда ожидали его, аки ангела-хранителя!.. Какие люди!.. Старинные люди, мой батюшка... Тезка мой, Данило Самойлович, — коллежский советник, медицины доктор, Санкт-петербургского вольного Экономического общества, иностранных академий: Дижонской, Нимской, Марсельской, Лионской, Тулузской, Майянской, Мангеймской, Туринской, Падуйской, Парижской хирургической, тамошнего же вольного ученого собрания и Нансийской медицинской коллегии член, и Государственной медицинской коллегии почетный член. А, каков титул?! И только членом Российской академии чинуши его не удосужились выбрать.

Он снова открывает книгу и показывает мне строгий, точеный профиль человека в пудреном парике, почему-то напоминающий мне Робеспьера, портретов которого я никогда не видал.

— Еще ничего не зная о причинах болезни, грудью своей закрывали

мир от нее. Сам себе привил чуму от умирающего. В палаты к больным вот таким щеголем входил в парадном платье, чтобы всем показать, что болезни и смерти страшиться не должно; где-то в заштатном Кременчуге такие опыты ставил, что о них потом вся Европа писала, — вот какие у нас с вами предшественники и учителя! Надо нам перед ними не осрамиться, хлопче, надо нам хорошенько подготовиться...

И с подкупающей искренностью и простотой добавляет:

— Я ведь тоже, как и ты, с чумой никогда еще не сталкивался. Пока только по книгам ее осваиваю...

С этого вечера я тоже начал готовиться к тому, что нас ожидало в конце этого светлого, безмятежного пути по сверкающему под солнцем морю.

Лют и загадочен был враг, с которым нам предстояло бороться. Он пользовался давней и зловещей славой. Его называли «черной смертью» и «бичом божьим». При императоре Юстиниане от чумы погибла половина населения всей Восточно-Римской империи. В одну страшную эпидемию 1348 года «черная смерть» уничтожила сорок миллионов людей — четверть населения Европы тех времен! И с тех пор чумные эпидемии повторялись чуть ли не каждое десятилетие то в одном уголке земли, то в другом, — и сколько они унесли человеческих жизней: четверть миллиарда, а может, и вдвое больше?

Непонятность, загадочность болезни породила всяческие суеверия. Чуму называли «поветрием» и верили, будто во время эпидемии зараженным, отравленным становится даже воздух. Люди запирались у себя в домах или в ужасе разбегались. Пищу больным подавали, словно бешеным зверям, на палке. Умерших вытаскивали из домов длинными крючьями служители — мортусы — в зловещих костюмах.

В старинных фолиантах я рассматривал пугающие изображения громадных, уродливых крыс. Они считались символом «черной смерти». Уже давно люди подметили, что крысы могут распространять чуму. Даже в библии сохранилось упоминание о повальном море крыс во время чумной эпидемии, поразившей филистимлян.

Пожалуй, это была единственная пока бесспорно установленная научная истина среди множества загадок «черной смерти»...

Я читал труды Самойловича со старомодными, витиеватыми названиями, от которых веяло давней стариной, временами Державина, Тредиаковского, Ломоносова: «Краткое описание микроскопических исследований о существе яду язвенного», или: «Способ самый удобный повсеместного врачевания смертоносной язвы, заразноящейся чумы ко благу всеобщественному...»

Но, вчитываясь в тяжеловесные фразы, я поражаюсь смелости ума и широте научного кругозора этого полкового лекаря, в 1768 году в одной из турецких деревушек впервые встретившегося с «черной смертью» и бесстрашно сражавшегося с нею потом до конца жизни.

Во время московской эпидемии Самойлович предложил для дезинфекции окуривать одежду больных особыми порошками. Тогда, уверял он, имущество заболевших можно будет не сжигать безжалостно, как это делали испокон веков. Но как проверить новый метод и доказать его безопасность? Не задумываясь, Самойлович окуривает и надевает на себя одежду только что погибших от чумы людей.

Он первый подметил, что чума распространяется при тесном соприкосновении здоровых людей с больными. Но как именно она передается от одного человека к другому, Самойлович не знал. И, несмотря на это, далеко обогнав свое время, попытался найти защиту от страшной болезни, делая прививки ослабленным «ядом язвенным». И это за сто с лишним лет до знаменитых открытий. Луи Пастера!

Перечитывая с Даниилом Кирилловичем труды Самойловича, мы не можем удержаться и читаем самые сильные места друг другу вслух.

— Вот, запишите-ка, юноша, еще одну превосходную мысль, а еще лучше зарубите ее на сердце. — Заболотный читает по-французски, тут же бегло переводя: — «Объявляя причиной чумы звезды и небо, не изображаем ли мы ее как неизбежный бич и не порождаем ли этим в сердцах населения страх, который еще более усиливает опасность болезни? И не лучше ли возбудить в нем бодрость, показав простыми и доступными наблюдениями, до какой степени можно противостоять этой страшной болезни и какими средствами можно предотвратить ее распространение?» Прекрасно сказано! Надо и мне это записать. Это из предисловия к «Рассуждению о чуме». И его до сих пор еще не удосужились перевести на русский язык!

— А французский вы откуда так хорошо знаете? — интересуюсь я.

— Французский? Это у меня наследственное, — серьезно отвечает Заболотный. — Мой батяко крипаком був.

— Крипаком?

— Ну да, камердинером в крепостные времена у одного барина, — смеется Даниил Кириллович. — Ездил со своим паном за кордон, там выучился французскому, а потом и мне передалось. Конечно, научился, хлопче. Всему приходится учиться, коли хочешь стать ангелом-хранителем.

Так мы сидим вечерами в душной каюте, забыв о беззаботном шарканье танцующих ног на палубе над нашими головами. Часто к нам

заходят Высокович и Редров, живущие в каюте по соседству. Тогда обычно разгораются споры: Высокович — профессор, он еще десять лет назад прославился на всю Европу своими работами о судьбе бактерий, попавших в кровь, а потом открытием возбудителя тяжелейшей, мучительной болезни — менингита. У него есть свои теории и насчет чумы, своя точка зрения на борьбу с нею.

Слушая эти споры, я думаю о том, что и теперь, через сто с лишним лет после Данилы Самойловича, мы, в сущности, очень мало знаем о таинственной «черной смерти». Всего только три года назад, в 1894 году, французский врач Иерсен открыл возбудителя этой болезни — крошечные, такие невинные на вид неподвижные палочки с закругленными концами. Даже под микроскопом они становятся заметны только при подкраске фуксином или метиленовой синькой, да и то окрашивается не вся палочка, а лишь ее утолщенные концы, середина же остается прозрачной.

Почти одновременно такое же открытие сделал на другом конце земли японский бактериолог Китазато.

Теперь мы знаем врага «в лицо». Но многое еще остается совершенно загадочным и непонятным. Почему возникают то здесь, то там чумные эпидемии? Как именно болезнь все-таки передается от одного человека к другому: на расстоянии, через воздух, или при непосредственном соприкосновении? До сих пор еще многие крупные исследователи отстаивают старую теорию, будто «черная смерть» передается какими-то таинственными «миазмами», через зараженный воздух.

Мы до сих пор даже не знаем точно: бубонная и легочная чума — разные болезни или различные формы одного и того же заболевания? Но от чего тогда зависит их различие? И самое главное: как бороться с «черной смертью», есть ли от нее надежная защита?

Да, враг коварен и беспощаден, а вступаем мы с ним в поединок, в сущности, с голыми руками. Даже предохранительную сыворотку, недавно изобретенную Иерсеном и Ру, о надежности которой пока никто не знает ничего достоверного, нам пришлось добывать буквально «на ходу» из Пастеровского института в Париже. Для этого директор Института экспериментальной медицины Виноградский писал в Париж, Мечникову: «Перед отъездом своим из Киева вчера Высокович обратился ко мне со следующей просьбой: он-де человек семейный, его спутники — тоже, а все мы, как известно, под богом ходим, — Виноградский пытался шутливостью тона скрасить неловкость оттого, что приходится выпрашивать своего рода «научную милостыню». — И во всяком случае вернуться приятнее, чем не вернуться... Из двух порций серума,

привезенных из Парижа, одну они с Владимировым маленько поистратили на мышек (1/10 задерживает смерть, 2/10 — спасает); остаточек драгоценной жидкости он получил для себя и своих людей... Так не найдется ли у Ру несколько порций хоть слабого Serum antipesteux для превентивных впрыскиваний 3–4 людям экспедиции? Если да, то он просит выслать посылку на его имя Poste restante^[1] в Brindisi к 27 февраля...»

В Бриндизи мы действительно нашли небольшую посылочку с сывороткой.

(Я нарочно привожу подробную цитату из письма, чтобы читатели нагляднее представили себе, с каким жалким оружием в руках начинали тогда ученые борьбу с «черной смертью». Как это непохоже на современные, великолепно снаряженные и обеспеченные всем необходимым научные экспедиции!)

Устав от научных споров, в которых я не понимаю доброй половины латинских терминов, и от размышлений над книгами, так что начинает раскалываться голова, я выхожу на палубу и замираю в восторге, очарованный красотой лунной ночи. Море спокойно, оно тоже словно зачаровано, и серебристая лунная дорожка, которую моряки называют «тропинкой к счастью», тянется, не прерываясь, далеко, далеко — до самого края неба.

И опять нереально-далекими, какими-то отвлеченными кажутся мне в этот миг наши разговоры о чуме. Какая «черная смерть»? Где она? Разве есть для нее место в таком прекрасном и сказочном мире?

Африка... И снова пестрые, яркие краски, запахи, звуки отвлекают меня от научных споров и размышлений.

Минареты Александрии, грохот и разноголосица порта, гранитные обелиски на набережной, испещренные причудливыми иероглифами. А потом Суэцкий канал и непередаваемое ощущение того, что вот мы плывем по нему, а слева у нас «пустынные степи аравийской земли», где «три гордые пальмы высоко росли», а справа, совсем близко, хоть руку протяни — выжженная земля Африки с величавыми зубцами древних пирамид.

А потом Красное море... По ночам оно фосфоресцировало, пенистые гребни волн пылали призрачным холодным голубоватым пламенем, а в глубине воды за кормой извивались чудовищные огненные змеи. Заболотный с увлечением объяснял мне, какие именно бактерии вызывают это сказочное зрелище.

— Да откуда вы все это знаете? — поражался я.

— Так я же специально занимался еще студентом свечением одесских лиманов. Можно сказать, первая моя самостоятельная научная работа. Была

опубликована в «Записках Новороссийского общества естествоиспытателей» еще в 1892 году. Так что я маститый, не смотрите, что молодой.

И, задорно подмигнув мне, Даниил Кириллович неожиданно лихо пропел:

*Не хилися, явороньку,
Що ти зелененький;
Не журися, козаченьку,
Що ти молоденький!..*

Видно, и Заболотного эта ночь в пылающем море настраивает на лирический лад. Начинаются воспоминания о студенческих годах, о больших ученых, у которых повелось ему учиться в Одессе. Увлекательные, очень теплые, но и забавные рассказы о неистовом Илье Ильиче Мечникове и его бородатом друге, замечательном биологе Александре Онуфрие-виче Ковалевском, который дал Заболотному первые темы для научных исследований в загадочном мире микроорганизмов.

— Мы, натуралисты, лягушатники, как нас звали, любили и прямо-таки боготворили науку, а за свой университет так жизнь готовы были отдать. Жаль, не удалось доучиться у таких учителей. Засадили меня на три месяца в тюрьму за участие в студенческой сходке, из университета, конечно, вышвырнули. Спасибо Якову Юлиевичу Бардаху, приютил меня на бактериологической станции. Тоже дуже добра и умна людина...

Даниил Кириллович долго молчит, глядя в море, а потом добавляет, словно подводя итог воспоминаниям:

— Культ науки и поисков правды — вот чем был одесский период моего життя.

Море сияет. Мы молоды, шутим, смеемся. А вести, что летят навстречу, голубыми искрами потрескивая под телеграфным ключом, становятся все тревожнее. По слухам, в Бомбее закрыты все банки и магазины, люди в панике бегут, все вокзалы забиты.

И как странно, спустившись в каюту, увидеть разложенные на столе предметы нашего нехитрого экспедиционного оборудования: сухой стерилизатор, один-единственный микроскоп, громоздкий пульверизатор с насосом, немного пробирок и стеклянных банок.

Индийский океан встретил нас легким штормом. Брызги долетали до верхней палубы. Но Заболотный только фыркнул, как морж, отряхивался и в

полном восторге даже начал выкрикивать стихи, — конечно, своего любимца Гейне:

*Сердитый ветер надел штаны.
Свои штаны водяные.
Он волны хлещет, а волны черны, —
Бегут и режут, как шальные.
Потопом обрушился весь небосвод.
Гуляет шторм на просторе.
Вот, вот старуха-ночь зальет.
Затопит старое море...*

Вскоре тропическая ночь действительно затопила, залила непроглядной чернотой бушующее море. Мы мотались во все стороны на узких койках, пока незаметно не забылись тяжелым, усталым сном.

А когда утром вышли на палубу, море было тихим и безмятежным, словно и не разгулялось накануне.

Вдали чуть заметной размытой полосой виднелся берег. Навстречу нам плыли две большие лодки с треугольными косыми парусами, пестрыми от разноцветных заплат. Лодки прошли совсем близко. Каждая была битком набита людьми. Они сидели и валялись прямо на палубе под неистовым солнцем. Ветер донес к нам детский плач,

— Самбуки, — сказал стоявший рядом со мной Даниил Кириллович. — На таких лодчонках тысячи правоверных мусульман отправляются через весь океан из Индии на паломничество в Мекку.

Он долго задумчиво смотрел вслед уплывающим лодкам, пока они не растаяли в морской дымке.

На следующее утро наш пароход входил в гавань Бомбея. Вынеся на палубу весь свой багаж, мы стояли у поручней и всматривались в приближающийся берег. И все, наверное, в тот миг думали об одном: что ждет нас на этом чужом, неведомом берегу, осененном пышными веерами высоких пальм?..

Когда причал стал уже совсем близок, я обратил внимание на густой жирный дым, черными косматыми клубами поднимавшийся вдали над набережной, и воскликнул:

— Что это? Пожар?

— Это она и есть, — тихо сказал Заболотный. — Это она и есть, хлопче...

Высокович, перехватив мой недоуменный взгляд, суховато пояснил:
— Обычная вещь: жгут трупы погибших от чумы.

АД В РАЮ



Вот уже вторую неделю живем мы в Бомбее, а как он выглядит, я бы не смог рассказать.

А мы много ходим по городу. Каждое утро отправляемся на обход самых нищих кварталов. Шаткие хижины, прикрытые пальмовыми листьями... Тощие собаки и дети роются в кучах гниющих отходов... Вонь, грязь... В раскаленном воздухе черные тучи мух.

В центре многие дома заколочены. Больше половины жителей бежало из города, — конечно, у кого нашлись деньги. Хотя жителям богатых кварталов особая опасность, — собственно, и не угрожала. Здесь заболевшие насчитывались единицами, а в нищих кварталах — сотнями и даже тысячами.

Уже после первых обходов нам сразу стало ясно, что чума прежде всего болезнь социальная: она губит бедных и щадит богатых. Даниил Кириллович выписал к себе в тетрадь цифры, которые были доходчивее

любых слов. Среди индусов заболеваемость достигала почти 54 процентов, а в европейских кварталах чума поразила всего-навсего 0,8 процента жителей.

Под эти цифры некоторые даже пытались подвести расистскую «теоретическую базу».

— Полюбуйтесь, что пишут просвещенные медики, — сказал как-то Даниил Кириллович, протягивая мне свежую газету.

«Чума такая же обычная болезнь для Азии, как сыпной тиф для Европы, — распинался на ее страницах какой-то «доктор Айэрс». — Из европейцев чумой болеют немногие. Главным образом болеют туземцы, и преимущественно низшие классы населения...»

— А о том, что индусы ходят босые да голые, так что малейшая царапина приводит к заражению, и теснятся голодные в хижинах по двадцать человек, — об этом, конечно, ни слова, — угрюмо проговорил Заболотный, забирая у меня газету.

Прежде чем войти в очередную хижину, мы подсчитываем, сколько на ее двери нарисовано черных кружков. Каждый кружок — новая жертва чумы.

Теперь я знаю, как выглядит «черная смерть». Сначала она прикидывается простой лихорадкой: человека бьет озноб, болит голова, одолевает слабость. Потом начинается рвота, пропадает аппетит, краснеют глаза. Пульс скачет, температура поднимается до сорока одного градуса.

Еще день-два, и приходит смерть. Она помрачает сознание, пульс ускользает из-под моих пальцев. И вот уже он исчезает совсем...

Теперь я могу разжать свои руки. Они не удержали человека. Человека больше нет. Передо мной только труп, который надо как можно скорее сжечь, пока он не заразил других.

Трупы тех, кто умер на улице и не имеет родственников, мы везем в госпиталь, где я вскрываю их на большом столе, обитом жестью. В университете я всего несколько раз занимался в прозекторской, но теперь быстро стал мастером своего дела. Движения мои автоматичны и уверенны. Добравшись до печени, я делаю тонкий срез мертвой ткани и наношу мазок на предметное стекло. Теперь нужно капнуть синьки или фуксина. Они окрашивают и делают заметными крошечные прозрачные палочки с утолщениями на обоих концах — за эту особенность их называют биполярными. Вот так и выглядит «черная смерть».

А я склоняюсь над следующим трупом. Жарко и душно, пот заликает глаза. Я смахиваю его рукой, забыв, что в ней зажат окровавленный скальпель.

— Осторожно! — придерживает меня за локоть Даниил Кириллович.
— Одна царапина — и вы уже не врач, а жертва. А жертв вокруг и так хватает, хлопче.

И добавляет, отбирая у меня скальпель:

— Вы устали. В таком состоянии работать нельзя. Чумологу даже волноваться запрещается: вздохнешь всей грудью — вдохнешь смерть. Слышали, что у немцев уже заразился доктор Стиккер? Идите-ка спать, дорогой. А я сам закончу.

Я засыпаю сразу, едва голова падает на подушку. А утром мы снова отправляемся в наш привычный скорбный поход. В каждой хижине на нас смотрят с мольбой и надеждой, матери протягивают нам своих детей. А мы отводим глаза.

Чем мы можем помочь?

Кроме нашей экспедиции, в Бомбей на эпидемию приехали врачи из Вены, Берлина, из Каира. Работает на эпидемии Иерсен, открывший чумную бациллу.

Из Парижа, из Пастеровского института, приехал молодой врач Владимир Хавкин. Он привез изобретенную им «лимфу», которую получал из старых чумных бактерий, убитых нагреванием. Ее Хавкин сначала испытал на самом себе, но британским колониальным властям этого показалось мало. Они провели бесчеловечный «опыт» над заключенными бомбейской тюрьмы. Заключенных выстроили во дворе и приказали рассчитаться на первый-второй. Четным сделали прививку, нечетных оставили «для контроля» беззащитными перед угрозой чумы. Из привитых заболело трое, и все они выздоровели, а среди не получивших предохранительной вакцины заразилось и умерло десять человек. Только после этого Хавкину разрешили делать прививки.

Работая днем и ночью, он уже успел с помощниками сделать до пятнадцати тысяч прививок! Это большая победа. Но его вакцина — предохранительная: она оберегает людей от заражения чумой, но бессильна спасти уже заболевших.

Иерсен лечит больных сывороткой, полученной из крови лошадей, переболевших чумой. Ему удалось снизить смертность при более легкой бубонной чуме с 85 до 30 процентов, но — увы! — сыворотки у него осталось всего-навсего на 50 больных! А их умирает в Бомбее по 100–150 каждый день.

Главная беда: борьба ведется совершенно вслепую, наугад. Надо спасти людей, а мы знаем о чуме немногим больше, чем за сто лет до нас знал Самойлович. И от этого охватывает такое чувство бессилия и тоски,

что хочется бросить все и скорее бежать отсюда, от этих жалобных, умоляющих глаз...

В такие моменты меня порой бесит, как спокойно и методично Даниил Кириллович и Высокович проводят опыты с обезьянами, которых каждое утро приносят мальчишки из окрестных лесов. Но я понимаю, что эта будничная, скромная исследовательская работа и есть самая верная борьба с чумой. Это работа на будущее, ради того, чтобы вообще навсегда прекратились чумные эпидемии.

Редров уехал работать в другой город, в Пуну, мы остались втроем, а забот у нас все прибывает. Надо и обходы делать, и в госпиталях вести наблюдения за действием сыворотки, и вскрытиями заниматься, и проводить все новые и новые опыты на обезьянах.

Кое-что как будто начинает проясняться.

Удалось Заболотному с Высоковичем разоблачить одну коварную уловку «черной смерти», долго ставившую в тупик исследователей и мешавшую врачам вовремя подметить заболевание. Уже стало ясно, что форма чумы, которой заболевает человек, — бубонная или легочная — зависит только от того, каким путем проникла в организм «черная смерть» — через легкие или через кожу. Но, проникая через крошечную царапину на коже, бубонная чума, оказывается, вовсе не оставляет в этом месте своего прорыва никаких следов. И только через несколько дней уже совсем в другом месте, хотя и поблизости от злополучной царапины, возникают зловещие бубоны.

Если болезнь застигнута рано, то еще можно спасти человека. Но от легочной чумы никого не спасают ни сыворотка, ни вакцины. Поставить диагноз «Pneumonia pestica» — значит подписать смертный приговор больному...

Просиживая целыми днями за микроскопом, Даниил Кириллович подметил интереснейшие схватки между чумными бактериями и фагоцитами, защитной роли которых в организме был таким страстным проповедником Мечников. Тогда этим открытием Заболотного, к сожалению, не воспользовались врачи, не обратили на него внимания. И только через полвека наблюдения Даниила Кирилловича удалось использовать для создания надежной защиты и против легочной чумы.

Наблюдая, как ласково и ловко обращается Заболотный с обезьянами, когда пустячная царапина может стать для него смертельной, как он часами, не отрываясь, рассматривает в микроскоп бесчисленные пробы, как он свободно чувствует себя в этом запутанном скоплении научных загадок, непонятных явлений и задорно спорит с Высоковичем, отстаивая свои

гипотезы, я все больше восхищаюсь и поражаюсь. Когда успел так много узнать крестьянский сын из глухого села? Откуда у него такая прирожденная хватка пытливого исследователя? А ведь он старше меня всего на каких-то восемь лет...

Восхищается им и маститый, немного суховатый и всегда такой сдержанный Высокович.

— Лучшего соратника я не могу себе представить, — сказал он мне как-то в редком для него порыве откровенности. — И помяните мое слово: Заболотный далеко пойдет, очень далеко!..

Даниил Кириллович тоже относился к Высоковичу с большим уважением. Приятно было видеть, как дружно и увлеченно работают они в лаборатории, понимая друг друга с полуслова и одним лаконичным замечанием вдруг пробуждая в собеседнике целый вихрь интересных идей, новых, увлекательных мыслей.

Но ни уважение, ни разница в годах не мешали Заболотному порой вступать в жестокие научные споры с Владимиром Константиновичем. Они весьма расходились, например, в оценке фагоцитарной теории Мечникова, которую Высокович отвергал.

Много спорили они о главной загадке, все больше волновавшей Заболотного: где истоки эпидемии, откуда она началась?

Вопрос простой, но никто в те годы еще не мог дать на него убедительного ответа.

Споры разгорались все чаще.

— Сотрудник профессора Коха, доктор Зупиц, обнаружил новый очаг чумы в Африке, возле озера Виктория-Ньясса, — говорит Заболотный, зарывшийся в свежие газеты. — Давно свирепствующую здесь болезнь местные жители называли по-разному: «лобунга», «мбунга». Симптомы: озноб, головная боль, рвота, высокая температура... А оказалась чума. При пяти вскрытиях обнаружена полная идентичность с бомбейской. И вот очень любопытное наблюдение: болезнь здесь всегда начинается с массовых эпидемий среди болотных крыс, а потом уже перебрасывается на людей.

— Ну, о том, что крысы переносят чумную заразу, известно еще из библии, — пожимает плечами Высокович. — А Кох это доказал бактериологически.

— Верно. Но тут, в Бомбее, загвоздка. — Вы обратили внимание? Мор среди крыс действительно был, но в какой-то странной, непонятной связи с эпидемией. В одних местах он возник в начале эпидемии среди людей, в других — в конце ее, словно уже не крысы заразили людей, а, наоборот,

болезнь от людей перекинулась на крыс. Что крысы могут разносить заразу, это ясно. Но пока мы не могли здесь обнаружить прямой зависимости, чтобы с появлением падежа крыс параллельно шло бы и распространение чумной заразы по различным частям города. Так что, честно говоря, я лично не склонен придавать большого значения мору среди крыс в распространении этой эпидемии.

— Но откуда же тогда она возникла? — допытывается Высокович. — Или вы считаете, как некоторые, будто заразу занесли с зерном из Гималаев? Но ведь в тот район специально выезжали сотрудники германской экспедиции и никаких признаков чумы там не обнаружили.

Заболотный молчит, задумчиво постукивая карандашом по столу.

— Так что, хотя прямых улик действительно нет, — продолжает Высокович, расхаживая по комнате и машинально наклоняя голову от вертящейся под потолком большой лопасти вентилятора, — я все-таки уверен, что чума опять занесена сюда корабельными крысами откуда-нибудь из Китая — из Гонконга, например.

— Возможно, — кивает Заболотный, — А там, в Китае, она откуда взялась?

Вопрос кажется Высоковичу таким нелепым и странным, что он резко останавливается, забавно втянув голову в плечи.

— То есть как откуда? Вы же прекрасно знаете, Даниил Кириллович, что в Китае многие районы эндемичны для чумы, она там повторяется из года в год.

— А почему? Вот это-то меня и интересует, — оживает Заболотный и тоже вскакивает. — Я стараюсь понять, почему же именно чума эндемична для некоторых вполне определенных районов. Они эндемичны, потому что эндемичны? Согласитесь, что это не ответ. Ведь чумные бактерии не особенно стойки. Простой солнечный свет убивает их в течение каких-то трех-пяти часов. При кипячении они погибают немедленно. Их отлично убивают любые дезинфекционные средства: карболовая кислота, сулема, формалин. Так что вроде справиться с ними легче, чем с дифтеритом. Где же они прячутся между эпидемиями? Ведь если бы чума поражала только людей, то, перебив все жертвы в определенном районе, она тем самым должна была бы убить и себя, подохнуть потом с голоду. А она не подыхает! Значит, она где-то прячется, чем-то кормится, чтобы потом снова наброситься на людей. Где же ее вогнище, ее логово?

Так в трудах и спорах проходит два месяца. Лето в самом разгаре. Мы уже научились даже отличать по мельчайшим деталям костюмов и другим

тонкостям, к какой из бесчисленных каст принадлежит каждый из наших пациентов. У Заболотного завелись друзья в некоторых хижинах, и он ходит к ним в гости, довольно ловко объясняясь на какой-то невообразимой смеси языков.

По официальным отчетам, с начала эпидемии «черная смерть» унесла в Бомбее уже десять с половиной тысяч жизней. Но, кажется, она начинает утихомириваться. Однако работать нам не легче из-за душной, изнуряющей жары.

Только вечерами удается немного отдохнуть. Тогда мы отправляемся обычно в порт, на набережную, где лучше ощущается слабое дуновение ночного бриза.

Порой мы замечаем, как по канатам, переброшенным с кораблей на причал, черными призрачными тенями скользят крысы...

В темной воде отражаются пестрые огоньки судов. Они словно подмигивают нам и зовут: «Домой, домой!..»

Но скоро наши вечерние прогулки кончились. Даниил Кириллович нашел себе новую заботу. Теперь он все вечера напролет просиживает за письменным столом, обложившись географическими картами, справочниками пароходных линий Ллойда, газетами на разных языках.

— Бросьте, Даниил Кириллович, давайте лучше раскинем другие картишки, — подшучивает над ним Высокович. — Надо дать голове отдохнуть, а вы географией увлеклись. Для этого, как говорится, извозчики есть.

Заболотный подхватывает шутку, смеется, отвечает в том же духе, но потом снова склоняется над картой мира, разрисовывает ее цветными карандашами, делает какие-то записи в пухлой клеенчатой тетради.

Когда он откладывает тетрадь в сторону, я заглядываю в нее и читаю отрывочные записи:

«Восточные города с их теснотой, постоянной скученностью населения и грязью представляют благоприятные условия для развития чумных эпидемий в Азии».

«Исторические справки показывают, что большинство эпидемий чумы и холеры заносилось двумя путями: морским — через Красное море, Суэцкий канал, Египет — и поражало Европу (Турцию, Италию, Южную Францию, Англию) или сухопутным — через Месопотамию, Персию или Азиатскую Турцию — и поражало наше Поволжье и Кавказ».

«Из порта Бомбей пароходы совершают регулярные рейсы в Коломбо (Цейлон), Занзибар (Танганьика), Аден, Карачи...»

— Даниил Кириллович, зачем вам действительно вся эта география?

— спрашиваю я.

Заболотный растирает пальцами покрасневшие от усталости веки, жестом приглашает меня посмотреть на карту, расстеленную на столе.

— Как говаривал Шекспир, в каждом безумии должна быть своя система, — говорит он. — Вот я и стараюсь ее отыскать, эту систему, закономерность распространения чумы по земле. Тут у меня отмечены районы, где чума является эндемичным заболеванием, то есть существует постоянно, не прекращаясь из года в год, а только то усиливаясь, то ослабевая. Это прежде всего Месопотамия. Тут за последние сто лет было не менее двадцати сильных эпидемий. Многие исследователи связывают эндемичность чумы в Месопотамии с природными условиями этих мест: болотистые равнины, залитые водой рисовые поля, где водятся крысы. Но почему это должно вызывать чуму, непонятно! Другие предполагают, будто чуму сюда заносит из более западных районов, вот отсюда — из Турецкой Армении. Но тогда там она откуда берется?

Красный карандаш, которым Заболотный водит по карте, перескакивает на другой конец Азии, в Китай.

— Второй несомненный постоянный очаг чумы здесь, в провинции Юньнань. Тут периодические эпидемии уносят целиком население многих деревень, от мала до стара. И, наконец, новый, только что открытый Зупицем — в тропической Африке.

Он внимательно; испытующе смотрит на меня.

— Почему же именно здесь чума гнездится десятилетиями и даже веками? Притаится где-то, чтобы в подходящий момент опять неожиданно вырваться на свободу и пойти разгуливать по всему свету. И пока мы не разберемся, как и где она прячется, не научимся поражать ее там, в ее вогнище, нам «черной смерти» не победить.

Да, Заболотный прав. Вот мы тут сбиваемся с ног, болезнь вроде начала утихать. А кто знает, почему и надолго ли? Мы ее победили, заставили отступить? Нет! Затаится, притихнет, а потом пойдет косить людей снова, как подземный торфяной пожар, что я видел однажды в детстве. Кажется, победили огонь, справились с ним. А он просто спрятался под землю, и будет тлеть там годами, и в самый неожиданный момент снова вырвется на поверхность прямо у тебя из-под ног.

Даниил Кириллович снова склоняется над картой. А я, чтобы не мешать ему, выхожу на веранду.

Уже глубокая ночь. Где-то в соседнем дворе воют собаки.

Черные листья пальмы заслоняют небо, но я все-таки пытаюсь по узорам созвездий найти север. Но ни Полярной звезды, ни знакомого ковша

Большой Медведицы так и не отыскал — они, видно, прятались за крышами где-то у самого края неба. Вздохнув, я отправился спать.

А утром, за завтраком, Высокович, словно прочитав мои тайные мысли, торжественно сказал:

— Ну-с, друзья мои и соратники, рад вас обрадовать. Получено высочайшее распоряжение свертывать нам манатки и возвращаться в родные пенаты. Вызываю Редрова из Пуны, будем заказывать билеты на ближайший пароход, — вот только надо подумать: через Марсель поедем или на Одессу.

Домой, домой! Я едва не запрыгал на стуле, как мальчишка.

— Владимир Константинович, а как же с моей просьбой? — озабоченно спросил Заболотный.

— Как ни удивительно, она удовлетворена. По высочайшему разрешению нашего царственного шефа вам дозволяется на месяц задержаться в Джидде, представив потом подробный отчет с точным указанием израсходованных сумм до копейки!

— Отлично! — оживился Заболотный. — Месяцок, правда, маловато...

— Куда вы собираетесь, Даниил Кириллович? — недоумеваю я.

— В пекло, — саркастически отвечает вместо Заболотного Высокович. — Нашему уважаемому Даниилу Кирилловичу мало бомбейской жары. Он еще хочет погреться в самом пекле, для чего задумал совершить паломничество в Мекку. Или вы отошли втайне от православной веры, сознавайтесь?! Перешли в мусульманство?

— Вы правда едете в Мекку? — спрашиваю я Заболотного.

— Правда, если меня туда пустят, — смеется он.

— А домой?

— Придется отложить, — вздохнув, говорит Заболотный и как-то странно, с хитринкой смотрит на меня. — Вы от меня кланяйтесь Киеву, Днепру, Володимирской горке...

— Я с вами, Даниил Кириллович, — неожиданно даже для самого себя говорю я. — Ведь вам нужен помощник?

ДОРОГОЙ ПАЛОМНИКОВ



В Адене мы расстаемся с Высоковичем. Этот пароход не заходит в Джидду, и нам придется пересечь на какой-нибудь другой.

Но сделать это оказалось не так-то легко. Сначала мы четыре дня томимся в карантине на маленьком, совершенно голом и выжженном солнцем *островке* посреди залива. На нем только несколько унылых барачков. «Медицинский» надзор выполняют два надсмотрщика сомалиса да подслеповатый, совершенно оборванный уборщик мусора.

Загнанные в карантин предоставлены целиком сами себе: ловят рыбу, с вожделением глядя на море, купаться в котором не дают акулы, и с тоской ждут минуты освобождения. Правда, можно отправлять на берег в стирку белье, заказывать через лодочников любые продукты, даже самому съездить на базар, сунув в ладонь сомалиса традиционный бакшиш, — он в здешних краях открывает любые двери гораздо лучше сказочного «сезама». Нельзя только самовольно совсем покидать остров до срока. А если вы

возвращаетесь в барак ночевать, целый день проведя на берегу, то какое же это нарушение карантина...

Наконец эта комедия кончается, и нам разрешают перебраться на берег.

День за днем мы ходим с Заболотным в порт, но никак не удается уехать из постылого, выжженного солнцем, пыльного Адена. Пароходов в зачумленную Джидду нет.

Толстый портовый чиновник в засаленной красной феске каждый раз с любопытством рассматривает нас. Мы явно внушаем ему какие-то подозрения. Себя я не вижу со стороны, но зато могу понять недоумение чиновника, взглянув на Заболотного: заплатанная и выгоревшая почти до белизны военная куртка непривычного для здешних мест российского покроя, левое плечо оттягивает потрепанная кожаная сумка, набитая инструментами, в петлицу куртки с вызывающим щегольством вдет уже увядшая алая роза, — Даниил Кириллович не может пройти равнодушно мимо цветка...

— Что заставляет вас так торопиться в благословенную Джидду, эфенди? — не вытерпев, спрашивает чиновник.

— Чума, сударь, чума.

У чиновника от испуга отвисает челюсть. Он торопливо отодвигается, стараясь держаться подальше от нас, словно боясь немедленно заразиться. Пожалуй, теперь мы долго не получим билетов ни на один пароход. А может, наоборот, поскорее выгонят отсюда с перепугу?

— Хоть на самбуках контрабандой плыви, — ворчит Заболотный.

Мы выходим на набережную и уныло смотрим на море, ослепительно сверкающее под солнцем. И — о радость! — в гавань вползает маленький пароходик. «Мухаммед» — торжественно выведено неровными буквами на его грязном борту.

Пароход грузовой, однако вся палуба занята паломниками. Завтра он отправится в Джидду. Но примут ли нас на борт? Уж больно не похожи мы с Заболотным на паломников.

Однако деньги вполне заменяют благочестивость, и утром нам удается уговорить капитана захватить нас с собой.

Посадка на пароход напоминала военный штурм. Полуголые, изможденные паломники с криками бежали по трапу, лезли прямо через борт, спеша занять места. Каждому полагается клочок палубы площадью не больше двух квадратных метров.

Не успевшие взобраться на борт, цеплялись за якорные цепи. Матросы сталкивали их баграми в воду.

Палуба напоминала какой-то плавучий цыганский табор. В одном углу

находчивый паломник — судя по одежде, мелкий купец — уже устроил походную печку из трех кирпичей на железном листе и варит похлебку. Соседи с завистью косятся на него, жадно принюхиваясь к вкусному запаху.

Рядом на потрепанном коврике, обратившись лицом к заветной Мекке, до которой еще надо долго плыть, истово молится старик с морщинистым суровым лицом. Белая чалма у него на голове свидетельствует, что он уже не впервые отправляется на поклонение к священному гробу пророка и заслужил за это почтенный титул хаджи.

Кто спит, растянувшись прямо на грязной палубе, кто играет в кости, кто просто мирно и неторопливо беседует с соседом, пытаясь спрятаться от жгучего солнца в тени раскаленной трубы. И так день за днем, пока наш пароходик медленно плывет по ослепительно синему морю, со скрипом переваливаясь с волны на волну.

Раскаленный воздух, который страшно вдыхать, солнце такое палящее, что небо становится багровым и словно пылает... Даже от воды тянет не прохладой, а зноем. И, довершая эту картину настоящего пекла, на горизонте день за днем все тянутся совершенно мертвые красно-бурые горы...

Все дни напролет Заболотный проводит среди людей, без конца толчется в этой пестрой толпе. Находит добровольных переводчиков и с их помощью заводит длинные, обстоятельные беседы, терпеливо расспрашивает каждого, чем он занимается, откуда плывет. Я поражаюсь его таланту быстро располагать к себе совершенно незнакомых людей, да к тому же еще недоверчиво настроенных к каждому европейцу. Но столько неподдельного уважения, внимания и доброты во всем облике Заболотного, в его манере разговаривать, слушать, так ласковы его детские голубые глаза, что постепенно перед ним раскрываются даже самые одинокие и ожесточенные сердца.

Вечерами, пристроившись возле тусклой лампочки, освещающей неверным светом нактоуз компаса, Даниил Кириллович записывает свои наблюдения и мысли в клеенчатую тетрадь.

— Обратите внимание вот на тех бородатых великанов, — тихо говорит он мне. — Они из Пенджаба, это горный район в Гималаях, всего в десятке дней пути от Бомбея. По упорным слухам, там издавна гнездится какая-то опасная болезнь. Местные жители называют ее «махамари», но по всем признакам она весьма напоминает чуму. А Бомбей снабжается зерном именно из этих горных районов. Правда, недавняя немецкая экспедиция случаев чумных заболеваний там не обнаружила, но, может, и там, как в

Бомбее, болезнь просто спряталась до поры до времени? За этими бородачами, во всяком случае, внимательно понаблюдать нелишне...

Над нашими головами сверкают звезды. За кормой тянется сверкающий огненный след. Тихо поет какую-то бесконечную унылую песню, борясь со сном, пожилой рулевой в рваной рубашке. А вокруг нас храпят, тяжело дышат, ворочаются, вскрикивают и стонут во сне измученные, изголодавшиеся люди.

— Черт его знает, — с горечью говорит Заболотный, — до чего все-таки неустроена еще жизнь! Такая красота кругом, прямо сказка, а тут мученики горемычные. Сколько их плывет сейчас вот так же, как и мы, на парходах, пробирается в самбуках, тайком, в обход карантинных! И ведь в каждом может прятаться болезнь, чтобы в подходящий момент вырваться на простор. Попробуй ее укарауль!

Я смотрю на разметавшихся во сне неподалеку от нас пенджабских горцев, о которых только что говорил Заболотный. В самом деле, не везут ли они уже сейчас «черную смерть» в складках своей пропотевшей, рваной одежды, в пище, которую захватили в дорогу, или, может быть, уже даже в собственном теле?

Кажется, мои подозрения оказались не напрасны: в полдень, когда пекло стало совершенно невыносимым, один из бородатых паломников, лежавший, закутавшись, на циновке, вдруг захрипел, забился. Соседи испуганно шарахнулись от него во все стороны.

Я подбежал к нему, начал суетливо расстегивать ворот рубашки, нащупывать пульс. Как назло, он не прощупывался. Кто-то осторожно потянул меня за плечо. Я оглянулся, увидел Заболотного и поспешно уступил ему место возле больного.

А паломник уже недвижно растянулся на грязной циновке, запрокинув голову с седеющей бородой. Заболотный отпустил его жилистую руку, достал из сумки маленькое зеркальце и поднес к губам пенджабца. Зеркало не потускнело от дыхания. Все кончено...

Встретив мой тревожный взгляд, Даниил Кириллович сказал:

— Сердце не выдержало. Экая духота. Надо готовить домовину...

Труп завернули в простыню, привязали к ногам чугунную полосу и бросили в море. Вслед за серым пятном савана, быстро уходившим в глубину, рванулись акулы. Они все время зловещими тенями крутились за кормой нашего корабля, терпеливо ожидая добычи. Теперь дождались...

Мы прибыли в Джидду на пятый день. Когда в это утро я вышел на палубу, то поразился полной перемене в облике всех паломников. До этого каждый из них был одет кто во что горазд. А теперь все переоделись в

заботливо припасенные белые одежды — ихрам, — составленные просто из двух кусков ткани: одним обернуты пояс и бедра, другой наброшен на плечи. И все, громко выкрикивая молитвы, не отрывали глаз от едва заметной цепочки серых гор, чуть поднимавшихся вдали над водой.

Горы постепенно приближались, поднимались над морем, отделялись от воды. И вот уже у их подножия видны белые домики, словно кусочки сахара, рассыпанные по берегу. Там и сям над этими домишками тянутся к пыльному и словно выгоревшему от зноя небу острые копыя минаретов.

И эту жалкую дыру называют «Праматерью городов»?! Я не могу скрыть своего разочарования.

А паломники вокруг нас падают ниц на грязную палубу. Они рвут на себе белые праздничные одежды, исступленными выкриками славят аллаха. Закончен их долгий и трудный путь, почти достигнута цель всей жизни. Перед ними благословенная Джидда — морские ворота в Мекку, где покоится священный прах пророка.

Пароход встал на рейде, где его тотчас же окружила целая стая самбук и маленьких долбленых лодок, напомнивших мне индейские пироги из читанных в детстве книжек. Спустили шлюпку, и мы с капитаном и пароходным врачом отправились на берег.

Шлюпка пристала к набережной возле двухэтажного здания с грязными стенами. Это карантинный пункт. Его приемная комната устроена так, что между нами и вышедшим навстречу чиновником деревянные барьеры образовали промежуток приблизительно метра в два. Здесь, на этой, так сказать, «нейтральной территории», стоял большой ящик, невыносимо вонявший жженой серой. В него нам предложили сложить все корабельные документы, письма и наши паспорта,

— Это у них, видимо, должно изображать дезинфекцию, — насмешливо прошептал мне на ухо Даниил Кириллович и покачал головой.

Угрюмый чиновник, от которого явственно пахло дешевым ромом, встретил нас весьма не приветливо. Узнав, что пароход следует из Бомбея, он категорически отказался впустить нас в город, предложив высидеть сначала двухнедельный карантин. Заболотный заспорил с ним, доказывая, что, во-первых, двухнедельное плавание парохода из Бомбея, за время которого никто на борту не заболел чумой, само по себе является достаточным карантинном; во-вторых, мы с Заболотным прошли еще дополнительный карантин в Адене и поэтому также не можем считаться носителями заразы. А в-третьих, насмешливо добавил он, если даже мы и больны, то в этом нет никакой особой опасности для благословенной Джидды, поскольку весь город официально объявлен зараженным чумой.

Но все эти доводы не действовали на чиновника.

Мы были вынуждены вернуться обратно на корабль. Даниил Кириллович, взбешенный таким непонятным упрямством, немедленно послал две гневные телеграммы: одну русскому консулу в Джидде, другую прямо в Константинополь, в санитарный совет, которому подчинялся местный карантин.

Телеграммы подействовали. На следующее утро с помощью русского консула нам все-таки разрешили сойти на берег.

Чем больше мы бродили с Заболотным по городу, тем сильнее поражались и возмущались его полнейшей беззащитностью перед «черной смертью». Грязь тут была еще неимовернее, чем в самых нищих кварталах Бомбея. Там хоть сезонные тропические ливни время от времени смывали с городских улиц пыль и нечистоты. А здесь дожди выпадали чуть ли не раз в столетие.

На весь город только четыре большие цистерны с тухлой водой. Каждая из них прикрыта навесом с окнами, через которые ведрами доставали воду. Потом водоносы разливали ее в мешки из козьих шкур и так развозили по городу. А сколько могло кишеть в этих мешках с водой мириадов бактерий холеры или тифа!

И даже такой воды не хватало. Здесь, в Джидде, мы впервые своими глазами увидели, что, оказывается, милостыню можно подавать нищим в виде кружки вонючей воды! Милостыню — или отраву, гибель?..

На тесных улицах, похожих на щели, с утра до вечера сновала пестрая, многоязычная толпа. Где-то в ней быстро и бесследно уже растворились паломники с нашего корабля.

Воинственно поглядывая по сторонам, проходили пылкие сирийцы, готовые затеять драку при малейшей обиде. Ничего не замечая вокруг, словно в гипнотическом сне, брели неведомо куда полуголые и тощие до страшноты паломники из Индии. Чернокожие маграбианцы, приплывшие из Африки, прятали оружие в складках своих широких бурнусов. Они не расставались с ним, даже отправляясь в Мекку, и, по рассказам, нередко затевали жестокие схватки с бедуинами, которые со всех паломников требовали бакшиш за свободный проезд через пустыню.

Сколько самых различных болезней несла в себе эта бесконечная человеческая река, сливавшаяся здесь, на пыльных улицах «Праматери городов», из великого множества ручейков, струившихся сюда из разных стран! Вот хотя бы эти стройные и красивые негры — ведь они пришли сюда как раз из тех тропических сырых лесов, где совсем недавно доктор Зупиц под личиной таинственной болезни «лобунга» или «хебунга»

распознал несомненное страшное лицо «черной смерти»...

Если судить по тому, с какой строгостью встретили карантинные чиновники нас с Заболотным, ни один микроб не смог бы, пожалуй, пробраться в благословенную Джидду. Но очень скоро мы убедились, что в этой карантинной крепости были, в сущности, только ворота на запоре, зато никаких стен не имелось совсем. Дорога для всех болезней оставалась открытой.

Для карантина и изоляции больных были отведены три унылых островка неподалеку от берега. Эти коралловые рифы едва поднимались над водой и были совершенно лишены малейших признаков зелени. Ни деревца, ни травинки, только ослепительно сверкающий белый коралловый песок.

Только на острове Абу-Саад был построен сносный лазарет. На двух же других островках паломники размещались в драных палатках, а то и просто на песке, под навесами. Питьевой воды не хватало, ее привозили из города. Паломники голодали, теряли последние силы. Они всячески стремились вырваться с этих островков, враждебно относились к врачам, считая их главными виновниками своих мучений. Беседуя с ними, нам с Даниилом Кирилловичем даже пришлось выдать себя за агентов паровой компании, чтобы преодолеть их озлобленность и недоверие.

Местные санитарные чиновники показывали нам проекты, по которым эти жалкие островки должны были превратиться в отличные карантинные лазареты, оборудованные всем необходимым. Но осуществлять эти превосходные планы никто не спешил. Как и в Бомбее, эпидемия затухла сама собой, и постепенно все успокоилось.

Мы с Заболотным опоздали. В чумном госпитале, еще совсем недавно переполненном, не осталось ни одного больного. «Черная смерть» снова затаилась, спряталась от нас. И никто не знал, куда и надолго ли...

— Все условия для эпидемии налицо: грязь, скученность населения, непрерывный приток людей из самых подозрительных в отношении чумы мест. Почему же эпидемия затухла? — допытывался я у Заболотного.

Даниил Кириллович пожимал плечами.

— Если бы мы с вами это знали, то стали бы академиками, Володя, да еще, пожалуй, почетными, — отшучивался он. — Возможно, что ее прекратила жара. Вы посмотрите, какой нещадный зной стоит. Вчера термометр показывал сорок семь градусов в тени, а на солнцепеке, говорят, доходило до восьмидесяти.

— Ну, хорошо, допустим, именно жара заставила отступить чуму. Но надолго ли? Жара спадет, и эпидемия начнется снова?

Даниил Кириллович еще красноречивее пожимает плечами.

Мы сидим прямо на каменном полу отведенной нам маленькой комнаты — так прохладнее. Солнце село, и в узкие окошки, затянутые частой решеткой, начинает просачиваться легкий ветерок с моря. Но он так слаб, что даже бессилён осушить капли пота на наших лицах. Их приходится то и дело вытирать полотенцем.

— А что, так, пожалуй, даже удобнее, чем на столе, — весело говорит Заболотный, раскладывая вокруг себя на полу карты, газеты и листочки с записями и усаживаясь по-турецки среди этой груды бумаг.

Он не спеша наносит красным карандашом новые линии на карту, сверяясь с записями.

— Куда спряталась чума, мы пока не узнали. Но кое-что есть, трошки есть, — приговаривает он. — Вот, пожалуйста, красноречивые цифры: из пятидесяти восьми умерших за последнее время, несомненно от чумы, — пять индусов, десять суданцев, пять местных жителей и два паломника из Бухары. Остальные тридцать шесть все приехали сюда с Аравийского побережья, из Йемена и Гадремаута. И приехали они тайком, обойдя все кордоны на самбуках, которые никем не контролируются. Точно так же многие и возвращаются потом на родину, ускользая от внимания карантинных медиков. Видите, куда ниточки тянутся: в Африку, в Индию, да и к нам, в Бухару, на Кавказ...

Я слежу за красными линиями, расползающимися по всей карте под карандашом в руке Заболотного, и мысленно вижу самбуки, переполненные паломниками, пароходы, которые плывут сейчас к берегам Англии и Франции, седобородых старцев в белых чалмах, бредущих где-нибудь по каменистым тропам Кавказа. Куда занесут они невидимую до поры до времени «черную смерть»? Где она объявится в следующий раз?

А здесь, в Джидде, ее больше нет. Снова беззаботно шумят толпы людей на базарах, где не столько продают и покупают, сколько обмениваются новостями. Снова до глубокой ночи в маленьких кофейнях, на каждом шагу разбитых под навесами, а то и просто под открытым небом, спорят на все голоса завсегдатаи, потягивают кофе, дымят кальянами и громко стучат костяшками домино. Недавняя беда забыта.

Телеграмма из Петербурга предлагает нам возвращаться на родину. Уже взяты билеты на пароходы. Дальше наши дороги должны разделиться: я отправляюсь прямо в Одессу, а потом в Киев, продолжать свои занятия в университете, а Даниилу Кирилловичу поручено сначала заехать в Париж, поделиться добытыми материалами со знаменитым Пастеровским институтом, где работают Илья Ильич Мечников, способнейший ученик

Пастера — доктор Ру и другие светила медицины.

Оставшиеся до отъезда несколько дней мы спешим использовать для осмотра окрестностей «Праматери городов». Очень манит пробраться в Мекку и посмотреть своими глазами священный камень Каабы. Но в эту обитель паломников, которые пышно называют ее то «Святым городом», то «Городом без воды» (так, пожалуй, точнее), вход европейцам строжайше запрещен. Даже для мусульман эта дорога не безопасна. Ее охраняют племена бедуинов, получающие с паломников немалый доход: каждый год турецкое правительство, говорят, вынуждено платить шейхам бедуинских кочевых племен десятки тысяч полновесных золотых английских фунтов за разрешение проходить караванам паломников по их пустынным и диким землям. Когда эта плата запаздывает, бедуины попросту грабят прохожих, — правда, потом, по причудливым законам восточного гостеприимства, заботливо провожая ограбленных до границы своих земель.

В Мекке нам побывать не удалось, но, несмотря на отговоры местных чиновников и врачей, мы все-таки совершили вылазку к другому месту поклонения, поближе от Джидды, — к так называемой «могиле Евы».

Дорога шла через каменистую, мертвую равнину. Тучи пыли висели над бесконечной вереницей паломников. «Могила Евы» оказалась просто-напросто невысоким глинистым холмиком, на лысой верхушке которого росло несколько кустиков хлопчатника и тамаринда. С их искривленных веток свешивались пестрые ленточки и лоскутки — жалкие дары правоверных паломников, надеявшихся умиловить небо.

Я прикинул шагами размер холма. Длина его достигала почти семидесяти метров.

— Ничего себе, рослая была наша праматерь Евушка, — засмеялся Заболотный, но тотчас же поспешил принять серьезный вид под косыми взглядами паломников, выкрикивавших свои бесконечные заунывные молитвы.

Стоявший рядом с нами бухарский купец в тяжелой бараньей папахе торопливо оторвал от своего халата большой лоскут и неловко привязал его к ветке тамаринда.

— Я оставил с ним все грехи и болезни, — похвастал он нам на ломаном русском языке.

Не успели мы с ним разговориться, как бухарец уже исчез в толпе.

— И ведь миллионы людей серьезно верят, будто стоит только помолиться, как все недуги станут побеждены, — с горечью говорил мне Заболотный, когда мы возвращались обратно в город, стараясь держаться в сторонке от ретивых паломников. — Как побеждать болезнь, когда не

только природа упирается и не желает раскрывать своих загадок, но и мешают вдобавок людская глупость, темнота, суеверия? Мне местные врачи рассказывали: попробовали они весной построить дезинфекционную камеру, так ее за одну ночь толпа фанатиков разметала по камешку, ничего не осталось. Как говорится: «За мое ж жито, та мене и побито». Вот тут и работай!

Он выглядел очень усталым и удрученным, не шутил по своему обыкновению. Оживился только, найдя в комнате пачку свежих газет. Усевшись друг против друга прямо на пыльном ковре, мы начали их жадно изучать.

— Смотрите-ка! — окликаю я Заболотного. — Илья Ильич выступил на Международном съезде врачей с докладом «Успехи науки в изучении чумы и борьбы с ней». И тут упоминается ваше имя, Даниил Кириллович! Вот, пожалуйста: «Доктор Заболотный провел в Бомбее очень интересные наблюдения над обезьянами и показал, что под влиянием сыворотки происходит быстрое стечение лейкоцитов к очагам заразы, что служит новым подтверждением нашей теории фагоцитоза...»

Я протягиваю газету Заболотному. Он бегло просматривает заметку о докладе Мечникова, приговаривая:

— Ну, какие там особенные успехи, пустяки одни... И тут же откладывает ее в сторону, протягивая мне свою газету.

— Тут сообщение поинтереснее. Кажется, еще один эндемичный очажок чумы. Врач пекинской католической миссии, некий доктор Матиньон, со слов местных миссионеров, сообщает, что всего в нескольких днях пути от столицы Китая, в районе Вейчана, вот уже в течение десяти лет из года в год повторяется эпидемия болезни, которую местные жители называют по-разному: «вэн-и», «вэнь-ци», «хэй-вэнь». Но по всем признакам это чума. Надо пометить.

Он склонился над своей заветной картой, уже забыв обо мне.

— Вейчан... Вейчан. Вот он где. Довольно глухой уголок. Ни больших городов поблизости, ни караванных путей. Почему же она там эндемична? Любопытно... А отсюда рукой подать и до наших границ.

Я уже прочитал все, вплоть до объявлений, напился чаю и решил лечь спать, а он все сидел, скорчившись в неудобной позе на полу, зарывшись в свои бумаги.

— Спице, спице, Володя, — пробормотал он, отмахиваясь от меня. — А я хочу отчетик о нашей командировке вчерне набросать, потом на пароходе кончу.

Я заглянул через его плечо. Перо стремительно брызгая чернилами,

бегало по бумаге, выводя неровные строчки:

«Среди чудной тропической природы, в звездную ночь, когда море сверкает тысячью огней светящихся животных, подобные картины неустойства человеческой жизни производят особенно тяжелое впечатление и нарушают общую гармонию...»

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КЛАД



Через несколько дней я сел на пароход Русского добровольного общества. Даниил Кириллович должен был выехать в Марсель на следующее утро. Он стоял на набережной и махал мне фуражкой.

Просвет между бортом парохода и причалом становился все шире. И вот я уже не могу различить среди провожающих Заболотного, а потом и сам берег сливается с водой, навсегда исчезает из глаз. Прощай, «Праматерь городов», благословенная Джидда! Вот и закончилось Большое Приключение моей жизни. Впереди родной дом, снежная зима, будничные университетские занятия.

Мне почему-то грустно в этот миг покидать унылый, опостылевший берег аравийской земли. Я еще не знаю, что очень скоро наши дороги сольются снова и опять уведут нас надолго за тридевять земель...

Киев встретил меня золотом осенней листвы на бульварах, веселым гамом университетских коридоров. Сокурсники смотрели на меня

восторженно и почтительно, как на героя. И, помнится, я старался вести себя соответственно: важничал, в глубокой задумчивости одиноко расхаживал по коридорам, успевая, однако, краешком глаза подсматривать, какое это производит впечатление.

Шел месяц за месяцем. Постепенно меня затянули лекции, семинары, занятия в лабораториях и в анатомичке, и даже мне самому недавнее путешествие начинало казаться выдуманным, нереальным. Неужели это я, сидящий сейчас на скамейке на откосе Владимирской горки, откуда открывается такой чудесный вид на Подол и леса за Днепром, неужели в самом деле это я всего несколько месяцев назад стоял на набережной Бомбея, вслушиваясь в шум Индийского океана?!

Даниил Кириллович пробыл в Париже всю зиму и начало весны. Появился он в университете только в марте 1898 года. Встретились мы с ним очень тепло, расцеловались прямо в коридоре. Заболотный очень интересно рассказывал, как работал в Париже вместе с Мечниковым, делился планами своих научных исследований, которые наметил провести в Институте экспериментальной медицины, где ему дают лабораторию.

— Как? Разве вы покидаете Киев?

Такое сожаление, видимо, звучит в моем голосе, что он, оглянувшись, тянет меня в уголок и вдруг предлагает:

— А если нам снова куда-нибудь поехать?

— Куда?

— Ну, скажем, в Китай. Загадка этого явно эндемичного очажка в долине Вейчана — помните заметку в газете? — не дает мне, признаться, покоя. И в Монголии и у нас в Забайкалье, по некоторым источникам, кое-где годами гнездится чума, хотя нет там ни крупных городов, ни массовых скоплений паломников. И в Бомбей снова хочется по пути заглянуть. Эпидемия там опять нарастает, читали? На лето утихла, затаилась, а как мы уехали, снова показала зубы. Насчет экспедиции в Китай, кажется, дело решенное. Но я пытаюсь уговорить начальство, чтобы ехать нам разрешили через Бомбей. Грешный человек, запасся для этого даже письмом из Пастеровского института.

Он достал из неразлучной своей сумки письмо в плотном конверте и показал мне, смущенно предупредив:

— Тут обо мне много лишнего написали, так вы не обращайтесь внимания. Я уж им говорил — и Мечникову и доктору Ру. Но они считают, что так для дела нужно. Может, и правы. Не сведущ я в той дипломатии.

Письмо было на французском языке, но к нему оказался приложен и перевод:

«Институт Пастера, ул. Дюто, 25.
Париж, 14 марта 1898 года.

Его Высочеству принцу Ольденбургскому,

председателю Комиссии о мерах предупреждения чумы

Ваше Высочество

г-н Мечников и я выражаем Вам свою признательность за ту поспешность, с которой Вы разрешили г-ну д-ру Заболотному продолжать работу в Институте Пастера.

Наши опыты с противочумной сывороткой, изготовленной при помощи растворимого токсина, весьма удовлетворительны. Они вселяют в нас надежду на возможность излечения чумы в большинстве случаев заболевания и на предупреждение этой болезни путем предохранительных инъекций. В связи с этим было бы крайне важно использовать вспышку чумы в Бомбее для проведения решающего опыта, могущего определить ценность наших средств защиты от чумы.

Мы обращаемся к Вам также с просьбой поручить эти опыты г-ну Заболотному, который хорошо сведущ в этом вопросе и лучше других сможет довести его до благоприятного конца. В случае Вашего согласия г-н Заболотный отправится в конце этого месяца в Индию и подвергнет там новую сыворотку, решающему испытанию, а затем поедет в Маньчжурию для выполнения данного ему Вами поручения. Для этого он может заехать в Пекин или направиться к северной границе Индии и там на месте определить пути распространения болезни.

Таким образом, не будет задержки в выполнении миссии г-на Заболотного в Маньчжурии — более того, остановка г-на Заболотного в Бомбее будет способствовать ее выполнению.

Мы выражаем уверенность, что Вы, Ваше высочество, оцените преимущество этого плана действия и соблагovolите разрешить его осуществление...»

— Поможет? — с надеждой спросил Заболотный, когда я кончил

читать.

— Наверное.

— Ну, а вы как? Согласны?

Колебания не долго мучают меня. Я вспоминаю, как волнующе веял в лицо свежий ветерок дальних странствий, как сияло, солнце над Бомбеем, а по ночам за кормой корабля перекатывались светящиеся водяные валы...

— Я с вами, Даниил Кириллович! — опять, как когда-то в Бомбее, твердо говорю я и крепко жму его руку.

Дней через десять я действительно получаю от него телеграмму и выезжаю в Петербург. Извозчик долго везет меня через весь город к Святотроицкой общине сестер милосердия, в мрачноватых корпусах которой разместился Институт экспериментальной медицины.

Опасливо пробираюсь я сторонкой мимо проволочных клеток, где неистово завывают, мечутся, далеко разбрызгивая смертоносную пену, заразившиеся бешенством собаки. Не обращая на их вой никакого внимания, на верхушках старых тополей гомонят грачи.

Лаборатория Виноградского, где работает Даниил Кириллович, занимает всего три небольшие комнатенки покосившегося деревянного дома в самой глубине двора. Собственно, под лабораторное оборудование отведена лишь одна из этих комнат. Во второй помещался кабинет Виноградского, а в третьей, из окон которой открывался вид на Неву, работали Заболотный и тогда еще совсем молодой Василий Леонидович Омелянский, нежную дружбу с которым Даниил Кириллович пронес потом через всю свою жизнь.

Помнится, несколько лет пришлось Заболотному работать в такой тесноте, пока не было построено для лаборатории новое, более просторное помещение. На строительство его, кстати сказать, все эти годы и Виноградский, и Заболотный, и Омелянский отдавали львиную долю своего жалованья...

Работалось трудно, но увлекательно. Сергей Николаевич Виноградский особенно увлекался микробами почвы. Но он был большим ученым с широким кругозором и не стеснял своих сотрудников, не мешал им самим выбирать себе темы для исследований. «Теснота помещения искупалась широтой заданий и научных перспектив», — скажет потом, через много лет, об этом времени Даниил Кириллович в одной из статей.

У нас все готово, но отъезд откладывается. Высшие власти долго решают, как же нам все-таки ехать. В конце концов посещение Бомбея отпадает. Да и вообще морской путь в Китай обошелся бы слишком обременительно для весьма скромных бюджетов Чумной комиссии. Нам

предложено ехать до Иркутска, а оттуда через всю Монголию в Пекин.

Когда я прикидываю с Заболотным предстоящий путь по карте, прямо дух захватывает. Вот это путешествие!..

А снаряжение нашей экспедиции весьма скромное: походная лаборатория, небольшая аптечка да кое-какие геодезические приборы, с которыми ни я, ни Заболотный пока не умеем обращаться. Говорят, что они понадобятся для составления карты нашего маршрута и точного определения всех точек, где мы обнаружим чуму.

Отправились мы в путь 4 июня 1898 года. Всего шестьдесят с небольшим лет минуло с той поры, все это уложилось в рамки одного поколения, одной моей жизни, а какая древняя, незапамятная старина, если разобраться!

Поезда тогда еще ходили только до Томска. Дальше мы двенадцать дней тащились на перекладных до Иркутска, любуясь весенним ковром цветущих анемонов, ирисов и диких орхидей. Впервые я узнаю их названия о. т Даниила Кирилловича. Он был поразительный знаток и любитель цветов, я таких больше не встречал за всю свою долгую жизнь.

И по приезде в Иркутск он прежде всего потащил меня на почту («Непременно должно быть письмо от Милочки!»), а потом в цветочный магазин, отыскать который удалось только после долгих блужданий. Но зато вышел Заболотный из него с таким громадным букетом, что совсем скрылся за этой грудой цветов. На следующий день мы отправились в местный музей, где почти до самого обеда Даниил Кириллович дотошно расспрашивал старенького и говорливого, но весьма знающего смотрителя о природе монгольских степей.

— Хорошая подготовка — половина успеха, — назидательно говорит мне он, заполняя добытыми сведениями одну страницу тетради за другой.

В Иркутске наша экспедиция сразу выросла ровно вдвое и приняла окончательный вид: к нам присоединились переводчик Бимбаев, веселый круглолицый пожилой бурят, свободно говоривший и по-монгольски и по-китайски, и мрачноватый на вид, а в душе весьма добродушный и непосредственный казак Троицкосавской сотни Никандр Жилин — наша «военная охрана».

Все дорожные вещи и лабораторное оборудование погрузили на телеги, запряженные быками. Чтобы нас не задерживать, они отправлялись в путь пораньше. Ко времени привала мы их обычно догоняли. Все остальные вещи, которые могли понадобиться в любую минуту, сложили в китайскую телегу, она двигалась всегда рядом с нами. Никакой запряжки у этой телеги не было, ее просто привязывали ремнями к седлу одной из

лошадей. Сами ехали верхом.

До Кяхты мы двигались по старому купеческому тракту, проложенному в степи караванами с чаем. За Кяхтой уже начинались малоизвестные места, где легко было нашему маленькому отряду заплутать в неоглядных степных просторах. Перед выходом в неведомый путь Даниил Кириллович сам придирчиво проверил все снаряжение, осмотрел повозки, лошадей и быков.

И вот остались позади, скрылись за горизонтом последние домики и монгольские юрты на окраине Кяхты. Теперь вокруг нас на сотни верст расстилается степь.

Разгуливает по ней ветер, гнет и треплет ковыль, шуршит сухим бурьяном. Уже конец лета, все цветы посохли. Степь стала серой.

Впереди на мохнатой приземистой лошаденке покачивается Бимбаев и лениво тянет бесконечную, как сама степь, бурятскую песню. Я как-то пытался узнать, о чем же он поет. Из его сбивчивых объяснений получалось, будто поет он, собственно, обо всем, что встретится на пути. Увидит коршуна в небе — поет про коршуна. Увидит облачко на горизонте — запоет про облачко. И так без конца...

Вторым едет Заболотный. Военный сюртучок его совершенно выгорел и побелел на лопатках, всклокоченные волосы стали уже не рыжеватыми, а какими-то пегими от пыли. Фуражку он все время снимает, подставляя голову ветру. Тихонько поет:

*Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном...*

Никандр Жилин отправлен вперед с волами, а я еду замыкающим, бочком пристроившись в неудобном деревянном седле.

Так мы едем час, два, день, другой, третий... Из сухой травы выглядывают любопытные степные сурки — тарбаганы. К осени они отъедаются и становятся жирными, как свиньи. Бимбаев рассказывает нам, что осенью буряты и монголы добывают тысячами этих степных свиней, сбивая метким выстрелом или устраивая ночью проволочные петли у входов в их подземные норы. Охота, по его словам, всегда бывает удачна, потому что тарбаганы страшно любопытны и очень глупы. Мы едем, а они стоят, как столбики, и, пересвистываясь, разглядывают нас.

Заболотный неожиданно озорно свистит, и тарбаганов как ветром сдувает — все моментально ныряют в свои норы. Но через минуту они уже

снова вылезают один за другим и с интересом провожают нас любопытными взглядами.

Так едем до полудня, когда зной становится нестерпимым. Тогда привал у костра, уже заботливо разожженного нашим передовым, Никандром Жилиным. Он выбрал местечко поудобнее, распряг волов, и поджидает нас, помешивая в большом закопченном котле нечто, по запаху весьма аппетитное.

На ночлег мы обычно останавливались где-нибудь поблизости от монгольского кочевого аила, где можно достать свежего мяса. Они попадались довольно часто, через каждые сорок-пятьдесят километров.

В каждом селении, едва мы успеем разбить палатку и поужинать, к нам, заслышав еще заранее по «степному телеграфу» о прибытии врача, приходят больные. Особенно много больных трахомой. Мы с Заболотным облачались в белые халаты и начинали прием прямо под открытым небом. Даниил Кириллович подробно расспрашивал каждого не только о его болезни, но и о всяких семейных делах. Его доброжелательность, отзывчивость, постоянная добродушная шутливость, по-моему, действовали на больных гораздо лучше лекарств.

Особенно любил Даниил Кириллович беседовать с ламами, которые в монгольских степях в те времена не только занимались религиозным «врачеванием душ», но и были, собственно, единственными лекарями на сотни верст вокруг.

Сначала я недоумевал и говорил Заболотному:

— Послушайте, Даниил Кириллович, ведь они же знахари, шаманы, чему у них можно научиться?

— Многому, хлопче, многому, — отвечал он мне. — Конечно, они знахари, не без этого. Но, кроме того, каждый из них хранит секреты древней тибетской медицины. А у народа всегда есть чему поучиться.

Прислушиваясь к этим беседам, я очень скоро переменял свое пренебрежительное мнение о врачебном искусстве полуграмотных буддийских монахов. Оказалось, что они умеют даже делать прививки от оспы, хотя и по-своему, довольно оригинально: не в руку, как мы привыкли, а почему-то в кончик носа пациента!

В Урге, как тогда называли Улан-Батор, — единственном городе на всем нашем пути через пустынные степи Монголии, если только можно назвать было городом эти несколько десятков неизменных юрт, — Даниил Кириллович даже ухитрился добиться приема у самого главного ламы, Богдо-гегена, и долго расспрашивал его о таинственных лекарствах тибетской медицины.

В Урге мы провели несколько дней, чтобы дать, отдохнуть волам и верховым лошадям, а потом отправились дальше через пустыню Гоби. Здесь айлы попадались реже, но Даниил Кириллович все равно умел находить объекты для своих исследований: то он останавливает караван, чтобы зарисовать придорожный каменный столб — кишачило, — украшенный примитивным изображением уродливого человеческого лица, то приносит к костру целую охапку незнакомых растений и разбирает ее с помощью Бимбаева, который командует:

— Эта трава ядовитый, выбрось ее. Нохай-дери-су называется. А этот есть можно, оставь ее.

Засушенные цветы Даниил Кириллович рассовывает по всем дневникам, между страницами записных книжек. А на одном из привалов приносит из степи даже какой-то высохший корешок и заботливо упрячивает его в переметную сумку.

— Монгольский вяз, — поясняет он. — Поразительно живучий. Может, приживется дома, в Чеботарке.

Меня поражала ненасытная любознательность Заболотного. Его интересует все: и птицы, пролетающие в бледно-голубом небе, и развалины одинокого глиняного мавзолея на придорожном холме, и след дикого верблюда, отпечатавшийся в вязкой глине у соленого озера.

— Да к чему вам это, Даниил Кириллович? — бывало, удивляюсь я.

А он только смеется:

— Я же по образованию натуралист, лягушатник. Каждый медик должен быть естествоиспытателем, юноша. Помните слова незабвенного Козьмы Пруткова: «Специалист подобен флюсу»? Вот я и хочу избавиться от угрозы односторонней полноты. А потом ведь мы едем с вами по местам, очень мало пока известным науке. Кто тут прошел? Три-четыре экспедиции Пржевальского да Потанина, вот и все. Так что мы с вами нынче не просто медики, а можно сказать, Колумбы — первооткрыватели.

И вот он, устав от тяжелого дневного перехода под жарким солнцем, от которого в открытой степи нет защиты, не спит всю ночь напролет, с неподдельным интересом наблюдая за народной монгольской игрой «цаган-модо». Такую игру затевают обязательно в лунные ночи. Участвуют в ней только мальчишки-подростки.

Возле одной из юрт положили деревянную колоду. Худенький паренек лет тринадцати встает возле нее, держа в руках палку, обтесанную до белизны. Широко размахнувшись, он с громким криком «ку-кук!» швыряет ее далеко в степь. Вся орава мальчишек с гиканьем и свистом ринулась искать палку. Это не так-то, оказывается, просто при обманчивом свете

луны.

— Бислау! — пронзительно завопил один из мальчишек. (Это значит: нашел!)

Прижав палку крепко к груди, удачник мчится к колоде. А все остальные спешат ему наперерез, стараясь отнять добычу.

Долго они гоняются по степи. Палка переходит из рук в руки. А когда самому ловкому бегуну удастся, наконец, увернуться от всех преследователей и уже почти добежать до заветной колоды, начинается общая азартная свалка, в которую ввязались не только все взрослые монголы, наблюдавшие за игрой, но даже и мы с Заболотным.

А на следующий вечер в другом аиле Даниил Кириллович неторопливо и обстоятельно беседует со стариками, попивая монгольский чай, заправленный, по местным обычаям, маслом и пшеном. Седобородые степенные старцы показывают ему, как надо гадать по трещинам на бараньей лопатке, предварительно прокопченной на дымном огне костра. Потом он подробно записывает в путевой дневник названия лет степного календаря. Монголы тогда измеряли время периодами по двенадцать лет. Каждый год носил имя какого-нибудь животного: был год мыши, годы лошади, змеи, овцы. Двенадцатилетний цикл, повторенный пять раз, составлял уже более крупную меру времени, нечто вроде нашего века.

Но особенно, конечно, Даниила Кирилловича в каждом селении интересовали местные болезни. И не только те, что мучали людей. Он всех расспрашивал о тарбаганьей болезни.

В этой странной болезни было много загадочного и непонятного. Мы часто беседовали о ней вечерами у походного костра.

Время от времени, обычно осенью, среди тарбаганов, изрывших своими глубокими норами всю степь, вдруг стремительно распространяется болезнь, весьма похожая по своим признакам на чуму. Русские врачи Белявский и Решетников, побывавшие в этих краях за несколько лет до нас и первыми описавшие подробно эту болезнь, так и назвали ее «тарбаганьей чумой».

И вот во многих аилах нам рассказывают, будто от тарбаганов болезнь нередко передается людям — достаточно съесть мясо заболевшего зверька или просто дотронуться до него.

Зять казака Даниила Гурулева из русского пограничного селения Ачит ездил как-то в степь к монголам покупать овец. Удачную сделку, как водится, отметили пирушкой, на которой подавали жирное и действительно очень вкусное мясо тарбагана. Вернувшись домой, казак на четвертый день умер. А за ним смерть унесла еще шесть человек из семьи Гурулева и

двоих в соседнем доме. Заболели также ухаживавшие за больными врач Уткин и фельдшер Савватеев, но, к счастью, остались живы.

— Судя по тому, как быстро скосила их всех болезнь, — это, похоже, чума, — рассуждал Заболотный, рассказав об этом случае. — И другие признаки сходятся: припухание желез, лихорадка, почти повальная смертность. Но пойдя теперь проверь, действительно ли это чума и заразился ли ею Гурулев в самом деле от тарбагана.

Он задумчиво смотрит в степь, озаренную полной луной. Свет её так ярок, что даже сейчас, глубокой ночью, далеко отчетливо видна караванная тропа, выбитая в траве копытами прошедших по ней лошадей и верблюдов. Тропа тянется через всю степь в Китай, откуда с незапамятных времен возят по ней караваны узорчатый шелк и душистый чай. А может, оттуда, из Китая, где науке давно известны опасные очаги чумы, и привозят сюда караваны невидимую «черную смерть», а смешные, забавные тарбаганы вовсе неповинны в ее распространении?

Я говорю об этом Даниилу Кирилловичу. Он вздыхает и пожимает плечами.

— Ворог його батька знае! Никаких прямых улик нет...

А через день, когда мы останавливаемся на ночлег в очередном аиле, неотличимом от многих других, мысли наши снова будоражит непонятная загадка.

Три юрты да две землянки — вот и весь аил. Как уже вошло в привычку, Заболотный осмотрел всех жителей, дал капель старухе, у которой глаза еле открывались от застарелой трахомы. Потом, сидя у костра с чашкой горячего чая, начал Даниил Кириллович расспрашивать стариков, что помнят они о болезнях, которые поражали бы не отдельных жителей, а охватывали большие районы. Не было ли в здешних краях в последние годы чумных эпидемий?

Понаторевший за время путешествия Бимбаев бойко переводил, втолковывая, о какой болезни идет речь. По-моему, он скоро научился бы переводить на монгольский язык даже латинские медицинские термины, хотя и не понимая их смысла.

Ему отвечал старик с реденькой рыжеватой бородкой. Остальные монголы только кивали, не вынимая изо рта неизменных трубок с длинными чубуками и маленькими, не больше наперстка, чашечками, куда насыпали они растертый в пыль табак — дунзу.

— Нет, нет, они говорят, у них болезни такой давно не было, года три, — перевел Бимбаев.

Вдруг второй старик, с большим медным кольцом, оттягивавшим ему

левое ухо, начал что-то рассказывать, указывая трубкой куда-то через плечо.

— Что он говорит? — насторожился Заболотный. — Только переводы, пожалуйста, поточнее.

Бимбаев смущенно пожал плечами.

— Вроде сказку рассказывает, — сказал он. — Не знаю, верить ли? Говорит, нынче весной пришла смерть в урочище Михан-Гуна. Это верст четыреста отсюда, но «длинное ухо» донесло вести. Там, дескать, выкопали люди в степи клад. Золото, серебро, всякие старые вещи. Только не принес тот клад никому счастья. Двадцать человек копало, и все умерли. Семь китайцев и тринадцать монголов. Начала, говорит, у них голова болеть, жарко им стало. Потом кровь горлом пошла, и все умерли. Только их похоронили, как болезнь на другие айлы перекинулась. Умерло в округе до трехсот человек, говорит. Тогда местный геген приказал сжечь все юрты и кочевать в другое место. Так и сделали.

Старик помолчал, посасывая пожелтевший агатовый мундштук. Потом заговорил снова.

— Он говорит: проходил мимо лама и позавидовал на это богатство, — торопливо переводил Бимбаев. — Ему подарили три слитка серебра. Он тоже умер. Вот как всевидящий карает людей за жадность! Так он говорит.

— А может, как раз этот лама и занес туда болезнь, а клад тут вовсе ни при чем? — спросил я. — Откуда он шел-то, этот лама, не из Китая?

Бимбаев перевел мой вопрос и покачал головой.

— Нет, все они говорят: смерть выкопали из земли вместе с кладом.

Они вскоре разошлись, и мы остались у костра одни. Бимбаев завернулся в одеяло и пристроился рядом с давно уже громко храпевшим Никандром Жилиным. Теперь мы могли поговорить без помех.

— Сказки! — сказал я. — Каких только легенд не насочиняют люди вокруг явлений, которых они не могут объяснить!

Заболотный задумчиво смотрел в затухающий огонь.

— «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», — откликнулся он. — Во всяком случае, должно быть в ней какое-то рациональное зерно. Хорошо бы, конечно, туда заглянуть, в это урочище Михан-Гуна. Но четыреста километров — порядочный крюк, а нам надо спешить. Да и что мы сейчас там найдем: пепелище, старые головешки от юрт. Ведь все сожгли, убегая от болезни. Монголы, между прочим, всегда так поступают, и, пожалуй, не зря. Во всяком случае, удастся как-то пресечь эпидемию, остановить ее дальнейшее распространение. Да и степные пространства, конечно, в этом помогают.

Он достал из сумки тетрадь.

— Сказка сказкой, а записать ее не мешает. Помешивая палкой уголья и любуясь, как в черное небо взлетает целый рой огненных искр, я упрямо сказал:

— А все-таки явная сказка. Если это чума, то не могли же чумные бактерии сохраняться в земле годами, ожидая, пока их раскопают. Как показали опыты Шурупова, в почве они могут сохранять свою вирулентность два, от силы три месяца. А клад ведь лежал там не один год, наверное.

Заболотный вдруг бросил писать и поднял голову. Отложив тетрадь, он встал и начал расталкивать заснувшего Бимбаева.

— Надо спросить у старика с кольцом, не находили ли там, где выкопали клад, мертвых или больных тарбаганов.

— Сейчас спросить? — удивился Бимбаев, протирая глаза.

— Сейчас, сейчас. Немедленно!

С трудом, перебудив предварительно чуть ли не половину аила, мы разыскали юрту, где спал старик с медным кольцом. Начали его будить. Старик кряхтел, пугался, ничего не соображая со сна. Даниил Кириллович был очень смущен и проклинал свою нетерпеливость. Наконец старик понял, о чем его спрашивают, и закивал головой.

— Была, была! — обрадовался Бимбаев, хотя нам и так все стало понятно без перевода. — Он говорит: была как раз в то время тарбаганья болезнь. Но она часто бывает, говорит...

Когда мы вернулись к костру, угли в нем уже едва тлели. Пришлось подбросить аргала, как называют монголы сухой помет — основное топливо в степи.

— Понимаешь, если человек может заразиться от тарбагана чумой, то понятной становится и темная история с кладом, — сказал Даниил Кириллович. — Просто так, прямо в земле, чумные бактерии действительно долго храниться не могут. А в живом организме — скажем, тарбагана? А что, если они могут культивироваться там годами, как в живом термостате?

— А почему же эпидемия в конце концов все-таки возникает? Нужен же какой-то толчок.

— Ты так меня спрашиваешь, будто я господь бог, который заранее знает все, а не отставной лекарь Бендерского полка. Это, брат, нам еще надо выяснить. Но как рабочую гипотезу эти мысли, мне кажется, можно принять. Ведь совершенно точно, по-моему, отмечено уже немало случаев заражения людей в этих степях от тарбаганов.

— Но ведь, по-моему, вы сами говорили, что пока не зарегистрировано ни одного бесспорного случая, чтобы тарбаган был действительно болен чумой. Может, симптомы схожие, а болезни-то совсем разные.

— Ты прав, хлопче. К сожалению, прав, — вздохнул Заболотный. — Да, ни Решетников, ни Белявский не поймали ни одного чумного тарбагана. А «не пойманный — не вор».

Он озорно посмотрел на меня, подмигнул и добавил:

— Ну что же? Попробуем мы поймать. Верно? Рано утром Даниил Кириллович объявил Бимбаеву, что мы задержимся на один день в этом аиле и просим местных охотников помочь нам поймать нескольких тарбаганов. Бимбаев удивился.

— Надо подождать, они еще не отъелись как следует. Вот через месяц, тогда шибко жирные будут, вкусные!

Но, узнав, что тарбаганы нужны нам не для еды, а для науки, немедленно отправился по аулу скликать охотников.

Странное это было зрелище, когда охотничий отряд вышел через полчаса в степь. Тут были и старики и совсем мальчишки. Кто с винтовкой, кто со стареньким кремневым ружьем, а кто и с луком или даже просто с волосяной петлей, привязанной к длинной палке.

Два монгола пришли вообще без всякого оружия, но зато тащили зачем-то с собой черную лохматую шкуру сарлыка — монгольского яка.

— Это еще зачем? — удивился Даниил Кириллович.

— Тарбагана ловить, — пожав плечами, загадочно ответил один из охотников.

Заинтригованные, мы с Заболотным отправились вслед за этой парой. Завидев нашу процессию, тарбаганы прятались в норы. Тогда охотники встали на четвереньки, набросили на себя громадную шкуру и медленно двинулись вперед.

Мы легли в траву на вершине небольшого холмика, наблюдая за охотниками в бинокль. Вот из одной норы высунулась любопытная усатая мордочка, потом из другой, из третьей... Забыв всякий страх, любопытные сурки вылезали из нор, чтобы получше рассмотреть непонятного черного зверя, так смешно ползущего по степи.

Загремели выстрелы. Только одному тарбагану удалось юркнуть в подземное убежище. Увидев это, охотник зацокал языком:

— Ай, ушел, жалко!

— Да он же ранен, далеко не уйдет, — утешал его Заболотный.

— Вытащим из норы, — предложил я, засучивая рукава.

Охотник остановил меня.

— Шайтан его вытащит. Знаешь, как у нас говорят? Если тарбагана убить наповал — хорошо. Если улезет со стрелой в нору — худо. Он там под землей в читкура, злого духа, оборачивается. Знаешь? Десять человек его не вытащат. А вытащат — смерть найдут.

Я махнул рукой и засмеялся.

— Вот вам и еще легенда, Даниил Кириллович. Теперь о тарбагане-оборотне.

— Но обратите внимание, что все они в общем-то клонят к одному: что болезнь могут хранить под землей. Кто? Тарбаганы? — серьезно ответил мне Заболотный. — Вряд ли это случайно.

К обеду возле нашей походной лаборатории лежала целая груда убитых тарбаганов. Мы вскрывали их одного за другим под любопытными взглядами охотников.

Но ни один тарбаган не прятал в себе чумных микробов. Все они были совершенно здоровы.

Наутро, отблагодарив охотников подарками, мы двинулись дальше. И уже в первом же попутном аиле снова услышали рассказы о повальной болезни, которая свирепствовала в позапрошлом году в этих местах. Она началась массовым падежом тарбаганов, а потом перекинулась на людей и унесла тридцать жителей. Тогда местный духовный глава — геген — наложил запрет на охоту за тарбаганами. Кто нарушит его, у того отбирали седло и лошадь — самое дорогое и необходимое для каждого кочевника.

— Не могут же заблуждаться столько людей, — сказал мне Заболотный. — Давайте попробуем здесь поохотиться.

Несмотря на долгие уговоры, местные жители отказались помогать нам ловить тарбаганов. Видимо, запрет гегена еще оставался в силе или слишком памятно было пережитое несчастье.

Мы покинули аил и, отъехав от него на порядочное расстояние, чтобы не слышно было выстрелов, начали охотиться за сурками сами. Стрелки мы были, конечно, неважные. Но все-таки пяток тарбаганов удалось добыть. Все они оказались совершенно здоровы.

— Да-с, «не пойманный — не вор», — вздохнул Заболотный.

Надо было спешить. Ведь где-то в долине Вейчана нас ждали люди, которые вот сейчас, пока мы гоняемся за тарбаганами по степи, гибнут в муках.

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ ЦАРАПИНА



Чтобы наверстать время, мы теперь проезжали по сто пятьдесят — сто восемьдесят километров в день, к вечеру буквально вываливаясь из седла от страшной усталости.

Все суше и однообразнее становилась степь. Ветер гнал над растрескавшейся землей серые тучи пыли. Скрипела галька под копытами лошадей. Караванную тропу отмечали белые кости павших верблюдов, черные пятна гари на месте бывших становой да кучки камней с воткнутыми в них шестами. Это были обо — жертвенники духам степей и бесконечных дорог. В щели между камнями полагалось класть приношения: кусочки сыра и масла, медные монетки. Лукавый Бимбаев, стыдливо косясь на нас, аккуратно выполнял этот обряд. К каждому шесту были привязаны бумажные ленты, пряди конского волоса и выгоревшие лоскутки материи. Их мотал, трепал степной ветер...

Только на двенадцатый день пути вдали чуть заметной серой цепочкой

на фоне почти такого же серого неба возникли горы. Они постепенно приближаются, вырастают все выше. И вот повеселевшие кони уже въезжают в широкое Калганское ущелье. На нас повеяло забытой прохладой от шумящего где-то за поворотом горного ручья. А вот и он сам весело бежит по камням, разбрасывая пену. А за ним желтеют поля, которых мы не видели уже, кажется, целую вечность, зеленые деревья, огороды.

При выезде из ущелья дорогу нам преградила серая приземистая стена, построенная, видимо, очень давно. Она словно вросла в землю. Местами зубцы ее отвалились, на гребне стены успели вырасти раскидистые деревья.

— Что же это вы, отважный путешественник, так спокойно смотрите на чудо архитектуры? — спрашивает меня Заболотный. — Это же Великая китайская стена.

— Не может быть!

— Вот вам и не может быть! Все еще никак не верите, что в погоне за чумой забрались мы аж на край света?

Так хочется получше осмотреть и эту удивительную стену, построенную в незапамятные времена, и город, приютившийся под ее защитой. Но надо спешить, спешить...

В Калгане мы пересели на забавных драчливых мулов. С первого взгляда они мне как-то совсем не внушали доверия, но оказались весьма выносливыми и подвижными. На них мы всего за четыре дня добрались до Пекина.

Из Пекина, оставив здесь Никандра Жилина, отправились почти прямо на север вдоль хребтов Хингана и Иншана. Каждый клочок земли на их склонах был заботливо обработан трудолюбивыми руками. По обеим сторонам дороги тянулись сплошные сады, где удавалось за гроши вдоволь полакомиться и персиками, и виноградом, и сахарными дынями, и даже какой-то экзотической жужубой.

Это роскошество природы было так непохоже на суровую бедность степи, к которой мы привыкли за полторы тысячи верст своего пути через Монголию.

Часто на пути попадаются уютные зеленые городки; их живописные дворцы и кумирни так и манят остановиться, полюбоваться, поглазеть. Но мы не останавливаемся, хотя неугомонный Даниил Кириллович даже на ходу успевает то нарвать огромный букет цветов, который скоро приходится выбросить за неимением вазы, то через Бимбаева расспросить кого-нибудь из встречных о болезнях, известных в округе.

Нас поражает, как много попадаетя по дороге зобатых людей. Однажды я ради интереса начал подсчитывать и насчитал их за день около сотни. Вероятно, в пище местного населения не хватает йода. Встречаются нам и люди, отмеченные оспинками. Их тоже немало, — до четверти всех встречных. Значит, оспа тут нередкая гостья.

В одном из селений Заболотный выведал у прохожих, что в округе часто повторяется какая-то повальная болезнь, каждый год уносящая немало людей. Уж не чума ли?

— Едем к местному мандарину, — решил Заболотный.

После долгих дипломатических переговоров с перепуганными чиновниками нас все-таки допустили к мандарину, полновластно вершившему всеми делами провинции. Но усатый лысый толстяк, замучив нас традиционными взаимными расспросами о здоровье, о целях нашей благородной и достойной всяческого поощрения поездки, весьма решительно заявил, что во вверенном ему округе никогда не было и быть не может никаких эпидемий, а если люди и умирают, то лишь по воле неба — от старости.

— По-моему, однако, врет, — непочтительно сказал Бимбаев, с облегчением закончивший перевод длинной и витиеватой фразы.

Но мы и сами прекрасно видели, что почтенный мандарин безбожно врет. А как его уличишь? Так ни с чем мы и отправились восвояси.

Чем дальше мы едем, тем беднее становится страна. В садах уже не увидишь винограда, низкорослыми, полудикими выглядят яблони и грушевые деревья. Почти не попадается больше пшеничных полей. Их сменяют посевы бедняков — гаолян, сорго, овес.

Наш маленький караван поднимается на последний перевал, и с его высоты открывается лесистая долина Вейчана, где некогда, по преданиям, любил охотиться император Коней, а теперь разит людей «черная смерть».

На спуске с перевала нас настиг проливной холодный дождь, и до маленькой каменной церквушки в селении Тун-цзя-инза мы добрались промокшие буквально до костей.

Нас радушно встретил отец Леон Десмет — сухопарый, сидящий бельгиец миссионер. Честно говоря, мне, при виде этих мирных затерянных селений, начало казаться, будто все слухи о чумной эпидемии могут, к счастью, оказаться ошибочными, ложными. Но уже первый разговор с отцом Десметом за вечерним столом, уставленным всякими вкусными блюдами и так приятно, по-домашнему, озаренным мягким светом начищенной до блеска пузатой медной лампы, вызвал большую тревогу.

За мирными стенами этого уютного жилья притаилась беда. В соседних селениях опустели многие фанзы. За последние три года, по словам миссионера, болезнь убила почти четыреста человек — больше половины всего населения!

Болезнь возникает каждый год в начале лета и исчезает обыкновенно с холодами. Сейчас эпидемия в разгаре, и уже умерло двадцать четыре человека.

Утром бельгиец повел нас по фанзам, И уже в первой же из них мы встречаемся лицом к лицу с «черной смертью».

Фанза тесная, маленькая. Небольшие сени, служащие одновременно и кухней, делят ее на две комнаты. В одной хранятся все хозяйственные запасы, в другой живет многочисленная семья. На земляном полу оборванные детишки возятся с неистово хрюкающей черной свиньей. А тут же, на кане — невысоких нарах, подогреваемых снизу проходящими под ними трубами от печки, — тяжело, с хрипотой, дышит китаец лет тридцати. По его исхудалому лицу катятся крупные капли пота.

Пока Заболотный осматривает больного, я записываю все сведения о нем. Оказывается, он сам врач. Зовут его Ти Тин-юй. Ухаживая за больными, заразился и вот уже два дня как не может подняться.

— А больные ждут меня, — с трудом выговаривает он, виновато поглядывая на Заболотного, который дотошно выслушивает, выстукивает его, ставит градусник, берет пробы для анализов.

Утомленный осмотром, больной бессильно откидывается на кучу тряпья, заменяющего ему подушку, а мы с Заболотным выходим на свежий воздух, на крыльцо, где нас ожидает отец Десмет. По грустному и усталому лицу Даниила Кирилловича я вижу, что дело плохо.

— По всем клиническим симптомам — классическая картина легочной чумы, — говорит он. — И кажется, случай безнадежный. Температура сорок, пульс сто восемь. Но все равно надо сделать детальный бактериологический анализ. Ведь это первый случай, с которым мы здесь столкнулись, и надо быть точно уверенным, что это чума.

— Но вы привезли какие-то лекарства, — торопливо произносит миссионер. — Почему же не даете больному?

— Да, мы привезли сыворотку, — кивает Заболотный. Потом, после долгой паузы, тихо добавляет:- Но ее у нас немного, а этот случай явно безнадежный. Мы уже опоздали.

Мы стоим на крыльце и долго молчим. Из фанзы выскакивает визжащая свинья, за ней веселой гурьбой спешат дети.

— А все-таки я дам ему сыворотку! — упрямо говорит Даниил

Кириллович.

Я его, кажется, понимаю: пусть она уже бессильна спасти заболевшего врача, но мы не можем оставить его без помощи.

Трепещет синий огонек походной спиртовки, на которой кипятятся инструменты. Ти Тин-юй с надеждой смотрит, как Даниил Кириллович привычно и ловко вводит ему под кожу сверкающую иглу шприца. Капля за каплей вливаются в тело больного пятьдесят кубических сантиметров драгоценной сыворотки, которую мы везли сюда через тысячи километров, оберегая пуще собственных глаз.

Теперь остается только терпеливо ждать. Несмотря на суровый приговор Заболотного, мне почему-то кажется, что несчастный врач должен непременно выздороветь.

В этот день мы больше не продолжаем обхода деревни. Враг уже обнаружен, теперь надо хорошенько подготовиться к борьбе с ним. Мы разбираем палатку на берегу говорливого ручья, бегущего с гор, и устраиваем в ней полевую лабораторию. На столах из неструганых досок расставлены микроскоп и стерилизатор, разложены инструменты.

— Один стол надо обить цинком или, на худой конец, жестью, — говорит Даниил Кириллович.

И мой оптимизм сразу сникает: значит, наверняка будут жертвы, будут трупы, которые нам придется вскрывать на этом зловещем столе.

Я невольно прерываю свою работу, увидев, каким странным делом занят Даниил Кириллович. Раздевшись до пояса, он кропотливо прилаживает у себя под мышкой с помощью веревочек и бинтов какую-то пробирку.

— Что вы делаете? — спрашиваю я. Заболотный смущенно смеется.

— Да понимаешь, какое дело... Пока культуры прорастут на агаре при обычной температуре, долго ждать. А хочется анализ поскорее иметь. Может, мы еще ошибаемся, и это вовсе не чума, а какая-нибудь неизвестная науке местная болезнь? Вот я и хочу себя использовать как естественный термостат.

Теперь я понимаю, что он затеял. Хочет согреть теплом собственного тела пробирку, в которой на тонком питательном слое агар-агара размножаются бактерии, взятые из мокроты больного. А если это действительно бактерии чумы и пробирка при неосторожном движении лопнет, расколется?..

— Что же вы делаете, Даниил Кириллович? — нападаю на него я. — Всегда требуете от других осторожности, а сами?

— Ладно, ладно, — сконфуженно бурчит он, неловко натягивая

рубашку. — Я и делаю все весьма осторожно. Лучше помоги-ка мне...

Весь день потом он двигается так неуклюже и неловко, словно левая рука у него парализована, к удивлению и некоторому испугу Бимбаева, который ведь не знает, в чем дело. И все равно, несмотря на мои уговоры, Даниил Кириллович, зажав осторожно под мышкой смертоносную пробирку, помогает нам оборудовать лабораторию, а вечером отправляется вместе со мной проведать больного китайского врача.

К нашей радости, он чувствует себя лучше. Температура хоть на полградуса да упала, пульс снизился до девяноста двух ударов в минуту.

Но радость наша быстро стихает, как только вечером Даниил Кириллович достал из своего «живого термостата» пробирку и нанес на предметное стекло капельку мутной жидкости. В ярко освещенном круглом оконце микроскопа мы увидели зловещие прозрачные палочки с утолщениями на концах, чуть подкрашенные фуксином.

Все сомнения отпали. Чума...

Мы еще долго не ложились в тот вечер, составляя подробный план обхода деревни на завтра и готовя шприцы, перчатки, пробирки. А утром чуть свет за нами прибежал замурзанный парнишка от заболевшего доктора.

Неужели за одну ночь «черная смерть» одолела нашу сыворотку и так резко ухудшилось состояние больного?

Войдя в полутемную в этот ранний час фанзу, мы сразу увидели, что доктор чувствует себя еще лучше, чем накануне вечером. Он даже смог приветствовать нас слабым взмахом тонкой руки.

Но на соседнем кане лежал второй больной — пожилой сидящий китаец в синей потрепанной куртке. Он без сознания, в бреду выкрикивает какие-то непонятные нам китайские слова.

— Это мой брат, — слабым шепотом поясняет доктор Ти. — Охотился в горах и вот сегодня вернулся...

Мы кипятим два шприца и вводим обоим братьям по сорок кубиков сыворотки. Потом помогаем женщинам вынести на улицу, под наскоро сколоченный навес, рваные одеяла и все бесчисленное тряпье, накопившееся в фанзе. Все это надо продезинфицировать, здесь будут спать дети. Вход в фанзу им строжайше запрещен.

Теперь с каждым днем хлопот у нас становится все больше и больше. На следующее утро приходит и жалуется на слабость и недомогание молодой китаец Ти Ло-сен. Может быть, у него и не чума, но на всякий случай нужно сделать анализ.

Нам помогает, что в китайской медицине с древнейших времен уколы

иглой считаются целебными. Поэтому никто из больных не противится, когда мы берем пробы для анализов.

В тот же день нашему первому пациенту, доктору Ти, в выздоровлении которого я уже перестал сомневаться, сразу и резко становится хуже. Не помогают новые впрыскивания сыворотки. Кофеин едва подстегивает замирающее сердце. В одиннадцать часов вечера доктор Ти умирает.

Следующий день становится последним и для его брата. С каждым часом слабеет и Ти Ло-сен, у него также оказалась чума. Не помогают даже усиленные дозы сыворотки.

«Черная смерть» переходит в атаку. То в одной фанзе, то в другой она внезапно наносит коварный удар. Кроме легочной, есть случаи и бубонной чумы.

Мы боремся, как можем, с утра до вечера. Делаем прививки, анализы, сами ухаживаем за больными, показывая родственникам, как их надо кормить, поить.

И все-таки они умирают один за другим. Умирает совсем молодая Куо-ляэ, с нежным лицом, чуть тронутым перенесенной в детстве оспой. Умирает еще один из братьев Ти. Умирает беременная молодая жена Куо Ло-сена, унося с собой так и не успевшего родиться младенца...

Прямо с порога каждой фанзы открывается изумительной красоты вид. Перекатывая камешки, весело журчит горный ручей. Над ним покачивают лохматыми ветвями темные ели. Еще дальше упрямо карабкаются по склону горы стройные лиственницы. А еще выше над лесом зеленеют альпийские луга. Весной они, верно, превращаются в сплошной пестрый ковер из ярких цветов.

Здесь много всякой дичи. Недаром эти места облюбовали себе в прошлом для охоты китайские императоры. Каждый раз как я выхожу на крыльцо, с большой раскидистой елки напротив фанзы выглядывает любопытная белка. Один раз она даже ловко ухитрилась запустить в меня еловой шишкой. В зарослях по берегам ручья кричат фазаны. А однажды рано утром мы с Заболотным даже видели, как, совсем не пугаясь людей, сквозь эти заросли шумно продирался красавец лось.

И в окружении этой пленительной красоты каждый день умирают люди. Заглушая пересвист птиц на деревьях, почти из каждой фанзы доносятся тяжелый хрип, кашель, стоны...

Здесь чума выглядит еще страшнее, чем в Бомбее. Там жертв было больше, но и болезнь поэтому проявляла себя нагляднее, откровенней. А здесь она наносит удары исподтишка. Такое чувство, будто «черная смерть» все время невидимкой ходит за тобой по пятам, выбирая себе

очередную жертву.

И почему она облюбовала именно эту тихую долину? Почему вот уже десять лет не оставляет в покое жителей мирных горных селений? Они смирились, покорно сложили руки. Заболевает один в семье, и все остальные в тупой покорности ждут своей очереди. И только умирающий последним сетует, что некому его похоронить. Разве это не страшно?

Здесь нет и в помине больших городов, где люди поневоле теснятся, заражая друг друга. Нет поблизости и протоптанных караванных путей, не бродят по дорогам толпы паломников, которые могли бы далеко разносить заразу, как в Аравии.

Откуда же берется в этих краях чума? И эта загадочность больше всего тревожит и обескураживает нас.

На все мои вопросы Даниил Кириллович честно отвечал:

— Не знаю. Совершенно очевидно, что мы обнаружили еще один эндемичный очаг чумы на земле, но чем вызвано его возникновение именно здесь, в долине Вейчана, пока непонятно. Есть данные, будто чуму впервые сюда занесли лет десять назад откуда-то с севера, из монгольских степей, по которым мы с тобой проехали.

— Ну, а там она откуда взялась? — не унимался я. — Ведь и там нет ни скученности населения, ни особенно большого передвижения людей по караванным дорогам. Или вы все-таки думаете, будто чуму хранят в своих норах тарбаганы?

— Не знаю, не знаю. Однако тарбаганов немало и тут, все поля вокруг изрыты их норами. Ты это заметил? Повышается спрос на шкурки, и добыча их увеличивается с каждым годом.

Заболотный бродит по окрестностям, часами с помощью Бимбаева беседует с местными крестьянами, записывает в свою тетрадь подробные сведения о животных, которые водятся в здешних лесах, о растениях и погоде. Вечерами, расхаживая перед палаткой, где я пристроился под полотняным навесом у самодельного стола возле переносного фонарика, он Диктует мне:

— На плато есть несколько озер. Небольшие кряжи горного хребта разделены долинками, по которым текут горные ручьи, превращающиеся во время наводнения в горные потоки. Общее направление долин — с запада на восток...

У меня от усталости слипаются глаза, буквы двоятся.

— Зачем это нужно, Даниил Кириллович? — взмаливаюсь я. — Ну кому нужны эти географические подробности?

— Бис його знает, может, в них-то как раз и таится ключ к разгадке! —

устало отвечает он, присаживаясь на пенек. — Ведь нам уже ясно, что эндемичность чумы, видимо, как-то связана с определенными природными условиями. И подсказать разгадку могут самые неожиданные наблюдения.

Мы оба страшно устаем. Так много сил отнимает уход за больными, что на исследовательскую работу почти не остается времени.

Вчера заболел бубонной чумой шестилетний Джо, сынишка Ю-квина. Он часто вертелся возле нашей палатки, сначала дичился, а потом даже начал сопровождать нас в прогулках по окрестностям деревни. Еще утром я видел его весело гоняющим с толпой сверстников кожаный мячик. А к вечеру, когда нас позвали, он уже метался в жару, стонал и жалобно всхлипывал. Даниил Кириллович сделал ему прививку и остался ночевать тут же, в фанзе.

Днем раньше свалился отец Джо, молодой и веселый крестьянин богатырского роста и здоровья. Но сынишка его вчера казался здоровым.

В деревне было еще пятеро больных. И мне пришлось заниматься ими одному, только изредка, улучив свободную минутку, забегая в фанзу Ю-квина. Неделью днем и ночью боролся Заболотный за жизнь ее обитателей. С волнением мы отмечали с ним малейшие улучшения в состоянии мальчика и его отца. Но горький опыт уже научил нас не ликовать преждевременно: болезнь могла вести себя коварно. Сколько раз после заметного улучшения, когда, казалось, больной уже находится на пути к выздоровлению, «черная смерть» одним ударом обрывала его жизнь!

Но на этот раз она отступила. Когда утром на седьмой день я забежал навестить Заболотного, то неожиданно увидел во дворе фанзы Ю-квина с маленьким Джо на руках. Они блаженно грелись на солнышке.

А Заболотного в фанзе не было. Улыбаясь и кланяясь, Ю-квин жестами пояснил, что он ушел к себе в палатку.

Но я нашел его не в палатке, а на берегу ручья. Даниил Кириллович спал прямо в траве, подложив под голову старую сумку с инструментами. На похудевшем лице его дрожала прозрачная тень листвы. Он улыбался во сне

На столе в палатке лежали две истории болезни. В них впервые за все наше пребывание в долине Венчана в последней графе вместо грозного «Exitus letalis» — умер, было написано: «Вышел на улицу, здоров», — и жирно подчеркнуто красным карандашом.

Эта первая победа окрылила нас. Проснувшись в полдень, Даниил Кириллович, даже не завтракая, отправился вместе со мной осматривать остальных больных. Двум из них было лучше. Но в фанзе Куо Чун-чжоу мы нашли сразу еще двух больных в очень тяжелом состоянии — молодую

жену хозяина и его старика отца.

Даниил Кириллович поручил мне заботы о старике, а сам склонился со шприцем в руке над женщиной. И тут произошло несчастье.

Что-то тоненько звякнуло, упав на прочно утрамбованный земляной пол. Я оглянулся и увидел, что Даниил Кириллович стоит, как-то странно придерживая свою левую руку за локоть. Я подбежал к нему.

— Она дернулась, и рука сорвалась, — смущенно пробормотал он. — Экая незадача!

— Вы укололись зараженным шприцем? — Ну да. Темно тут.

Я осмотрел руку Заболотного, подведя его к единственному окошку, затянутому вместо стекла промасленной бумагой. На указательном пальце была едва заметна крошечная царапинка с каплей выступившей крови. Вот и все.

Неужели Заболотный обречен?! Слепой, панический страх, видно, слишком явно исказил мое лицо, потому что Даниил Кириллович нахмурился и сказал:

— Ну что вы, Володя, ей-богу, словно институтка какая! Крови никогда не видали? Решительно ничего страшного. На всякий случай сделаем сейчас прививочку. Вскипятите-ка шприц.

Я послушно начал кипятить шприц, но руки у меня дрожали. Тогда Заболотный мягко, но решительно оттеснил меня в сторону. Он сам вскипятил шприц, сам наполнил его сывороткой и сделал себе укол.

А потом, несмотря на все мои уговоры, спокойно и неторопливо, как всегда, закончил прививку хозяйке фанзы.

В эту ночь я не мог спать. Несколько раз вскакивал, торопливо зажигал свечу. Мне казалось, будто окликает Даниил Кириллович. Но он спал спокойно. До тех пор, пока я сам, при очередном вскакивании, не зацепил ведро и оно своим грохотом не разбудило его.

Тут Даниил Кириллович по-настоящему рассердился.

— Так нельзя. Возьмите же себя, наконец, в руки! Никак не думал, что вы так впечатлительны, Володя. Иначе не взял бы с собой, ей-богу. Ложитесь и немедленно спите. Вам завтра, возможно, придется работать за двоих.

Мы снова улеглись на свои походные койки.

— А я вам сказочку расскажу, чтобы поскорее уснули, — сказал в темноте Заболотный.

И по его голосу я почувствовал, что он улыбается.

— Даже, пожалуй, не сказка, а старая-престарая легенда о чуме. Чуете? Шла она однажды по степному шляху, притворившись жинкой. И

встретился ей сам господь бог. «Куда ты идешь, проклятая?» — спрашивает он. Чума называет ему ближний город. «Только много не убивай там людей, помилосердствуй, — сказал господь. — Такова моя воля». И чума ему поклялась, что убьет лишь сто человек, больше ни одного не тронет. Пошли они каждый своей дорогой. И вдруг узнает господь: не сто человек погибло, а много больше. Разгневался он и вызвал к себе чуму: «Як же ты меня обманула?» А та отвечает: «Я свое слово твердо сдержала. Кто же сверх сотни умер, тот умер от страха, не от болезни». Поучительная сказочка?

Я не откликаюсь и нарочно стараюсь дышать спокойно и ровно, чтобы он подумал, будто уже сплю. Тихонько окликнув меня еще раз, Даниил Кириллович засыпает. А я лежу в темноте до рассвета с открытыми глазами.

Утром мои последние надежды на то, что, может, заражения не произошло и Даниил Кириллович останется здоров, рухнули. На пальце появилась краснота. К вечеру она уже разрослась в небольшую язвочку. Сколько раз уже видел я это зловещее начало бубонной чумы!

Когда я сделал Заболотному очередную прививку, он деловито сказал: — Я не могу сегодня вести обход, поскольку сам заражен. Так что отправляйтесь немедленно, работы у вас нынче вдвое больше.

Это было сказано таким тоном, что я понял: возражать бесполезно. Молча собрал инструменты и вышел из палатки. Уже на улице заметил, что забыл надеть шапку, и вернулся.

Даниил Кириллович сидел за столом и что-то писал. «Уж не завещание ли? — екнуло у меня сердце. — Или прощальное письмо жене?»

Увидев меня, он нахмурился и торопливо прикрыл листочек бумаги ладонью. Но я успел разглядеть его. Он заполнял историю болезни — на этот раз свою собственную.

Надо ли рассказывать, в каком нервном напряжении прошли для меня эти ужасные дни? Как в тумане, я осматривал больных, делал уколы, отбирал пробы для анализа, а мысленно все рвался в палатку, где остался Заболотный. Но приходить в нее я мог только, как обычно: на обед или вечером, закончив работу. Один раз я попытался под каким-то предлогом вернуться среди дня. Даниил Кириллович выгнал меня из палатки, вокруг которой как неприкаемый все время расхаживал Бимбаев.

Заболотный держался бодро, но я видел, что ему становится с каждым днем хуже. На третий день после заражения рука у него плохо двигалась. И по гримасам, порой непроизвольно искажавшим его лицо, чувствовалось, что каждое движение причиняет ему боль. У него был жар, но насколько

именно поднялась температура, я мог только догадываться, потому что мерял ее он всегда сам и записывал в историю болезни, которую мне не показывал.

Я украдкой косился на этот листочек бумаги и со все возрастающей тревогой думал: «Что же будет написано в его последней строке. Exitus letalis?» Такую запись мне пришлось только сегодня в полдень сделать в истории болезни старика отца Куо Чун-чжоу, в хибарке которого заразился Заболотный.

Точно почувствовав, что ее главный и самый опытный противник выведен из строя, «черная смерть» перешла в наступление. На следующий день умерла и жена хозяина этой фанзы, неосторожным движением выбившая в тот злополучный день зараженный шприц из рук Заболотного.

Я не хотел говорить Даниилу Кирилловичу об этом, но скрыть не удалось. Он, видимо, догадался по моему лицу, что дела плохи, и заставил все рассказать.

Потом мы долго сидели у стола в угрюмом молчании.

— Ладно. Ей уже не поможешь, — вздохнув, сказал Заболотный и, морщась от боли, достал одной рукой из сумки тетрадь и положил ее передо мной на стол. — Давайте работать, Володя. Труд, говорят, — лучший лекарь от всех невзгод. А мы о нем последнее время как-то забыли.

Шутливым жестом строгого учителя он ткнул меня носом в раскрытую тетрадь, а сам заходил по палатке, диктуя:

— Фрукты здесь не дозревают. Лето кратковременно, ночи холодны, а ранней осенью начинают дуть с плоскогорья холодные западные ветры, приносящие зимой метели и дующие со страшной силой в ущельях. Любопытно, что, по словам местных жителей, именно с наступлением этого времени обычно прекращается сама собой чумная эпидемия...

В этот вечер мы снова засиделись долго. Под утро я проснулся и, прислушавшись к ровному, спокойному дыханию Заболотного, вдруг почему-то почувствовал, что кризис остался позади, самое страшное миновало, он выздоравливает.

Проснувшись рано утром, я не нашел его в комнате и выглянул в дверь. Бимбаев, присевший на корточки у костра, сделал мне торопливый знак молчать.

Даниил Кириллович сидел на берегу ручья и о чем-то тихо разговаривал со старой раскидистой пихтой, ласково поглаживая ее морщинистую кору. Потом его внимание привлек трубный звук, донесшийся откуда-то сверху. Заболотный вскочил на ноги и долго стоял, запрокинув голову и глядя в небо, где среди лохматых тучек тянулся к югу

длинный караван журавлей.

Я не хотел ему мешать и начал тихонько помогать Бимбаеву готовить завтрак. Минут через десять Заболотный подошел к нам с большим букетом осенних астр. Глаза его сияли.

— Дуже доброе утро! — весело сказал он, сел за стол и с аппетитом принялся за еду.

После завтрака Даниил Кириллович достал свою историю болезни и, уже не таясь, а, наоборот, лукаво подмигнув мне, аккуратно вписал в последнюю графу:

«Температура нормальная. Здоров. Приступил к работе».

Хотя работа уже, к счастью, кончалась. Середина октября, пора собираться в далекий путь на родину. Новых случаев заболевания не было уже несколько дней. Похоже, что мы заставили отступить «черную смерть»! Или вовсе не мы, а пронизывающие ледяные ветры, начавшие все чаще налетать с гор?

Накануне отъезда мы с Даниилом Кирилловичем подвели итоги борьбы. Они, признаться, были не очень утешительны. Из семнадцати больных, включая Заболотного, мы смогли спасти только четырех. Но ведь без нас тут умирал каждый заболевший чумой!:

Провожать нас вышла вся деревня. А за околицей, тоже словно провожая, стояли вдоль дороги у своих нор любопытные тарбаганы, пересвистывались и долго с интересом смотрели нам вслед...

КАРАВАН МЕРТВЕЦОВ



Не буду рассказывать, как пробирались мы напрямик, чтобы сберечь время, горными тропами к Шанхаю и как потом долго плыли вокруг всей Азии на пароходе. В Бомбее опять бушевала эпидемия, притихшая было на время тропических дождей. Мы встретились с Владимиром Хавкиным. Он решил совсем остаться в Индии, организовать здесь постоянный противочумный институт.

Основанный им институт существует и поныне и назван именем русского врача Владимира Хавкина, отдавшего борьбе с чумой в Индии тридцать лет жизни. Но об этом подвиге надо писать особую книгу, и, конечно, она непременно появится.

В Петербурге мы с Заболотным расстались.

Между нами было твердо уговорено, что я переведусь из Киевского университета в Петербург, чтобы помогать Даниилу Кирилловичу обработать материалы наших путешествий по дорогам чумы.

Так я и сделал. Сдал экзамены сразу за два курса, собрал свое нехитрое студенческое имущество и покатил в Петербург.

В Институте экспериментальной медицины мне сказали, что Заболотного надо искать в лаборатории «Чумного форта».

Так прозвали медики форт «Император Александр I», расположенный на крошечном островке возле Кронштадта. Изолированный от всего мира, он был идеальным местом для чумной лаборатории, которую тут и решили недавно организовать по настоянию Заболотного и других ученых.

Сереньким зимним утром я смотрел, как постепенно вырастали впереди из свинцовой воды замшелые каменные стены с узкими бойницами. Я был единственным пассажиром на маленьком пыхтящем катере, и команда посматривала на меня не то с испугом, не то с уважением, а вернее, чувства матросов носили смешанный характер, как и мои собственные. С одной стороны, было очень любопытно попасть в такое интересное и, по-моему, весьма романтическое «научное убежище». Но чем ближе мы к ним подплывали, крепостные стены казались такими угрюмыми, мрачными, нелюдимыми, с таким откровенным сочувствием посматривали на меня матросы, что невольно в голову начинала лезть всяческая ерунда вроде той зловещей надписи, какую придумал Данте для ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий...»

Сбавив ход, катер осторожно ткнулся носом в маленькую пристань, возле которой покачивалась на поднятой нами волне одинокая лодка. Нас встретил пожилой усатый жандарм в помятой шинели. Это тоже как-то не очень поднимало дух. Он долго рассматривал мои документы, прежде чем жестом разрешил ступить на мокрые доски причала. Катерок, словно обрадовавшись, что избавился от меня, тотчас же отвалил.

Мы прошли с жандармом мимо полосатого грибка для часового и под сводами мрачных ворот, над которыми раскинул крылья орел на барельефе. Решетка ворот была едва полуоткрыта, так что пришлось бочком протискиваться в эту щель. За воротами тесный дворик, совершенно пустой и голый, невольно вызывающий мысли о кратких тюремных прогулках.

Но вот со скрипом открывается железная дверца, украшенная львиными головами, и на пороге стоит улыбающийся Заболотный, радушно приглашая, словно в отчий дом:

— Заждались, заждались! А ну, поворотись-ка, сынку!.. И скорей чаю, чаю, да самого горячего! Небось продрог, вон ветер какой!

И сразу на душе моей становится светло и покойно, вмиг отлетают все опасения и заботы.

В крошечной комнате Даниила Кирилловича, которую низкие

сводчатые потолки и окна с решетками делают похожей не то на монастырскую келью, не то на тюремную камеру, мы долго пьем обжигающий черный чай, вспоминаем наши странствия, общих киевских знакомых. Железная койка, застланная серым больничным одеялом, на стене портрет Мечникова в простой деревянной рамке, на столе — неизменные цветы.

Потом Даниил Кириллович водит меня по всему форту, показывая свое хозяйство. Всюду идут столярные работы, лаборатории еще не готовы, пузатые колбы, пробирки, витые стеклянные трубки разложены на соломе прямо на полу в узких коридорах.

— Тесновато, но ничего. Такую здесь фабрику наладим — всю Россию обеспечим противочумной сывороткой и вакциной, — потирая руки, говорит на ходу Заболотный. — А главное — спокойно тут, тихо. И от начальства подальше — это, брат, тоже немаловажный фактор.

Действительно, здесь нас никто не беспокоит. Днем Даниил Кириллович уезжает в Петербург, где ему поручили организовать первую в России кафедру микробиологии при Женском медицинском институте. А я остаюсь один и под мерный плеск воды за окном обрабатываю материалы наших странствий: привожу в порядок истории болезни, рисую графики температур, систематизирую результаты анализов.,

Даниил Кириллович работает сразу над несколькими научными статьями. Одну, которую решено назвать «Исследования по чуме», он пишет для солидного «Архива биологических наук». Для «Русского архива патологии», который издает в Киеве Подвысоцкий, он решил подготовить небольшую статью о новой, ранее неизвестной пустулезной форме чумы, обнаруженной во время эпидемии в Бомбее.

Листая путевые дневники и записные книжки, я то и дело натываюсь на засушенные цветы. И в памяти снова оживают наши приключения в Аравии, в Монголии, в Китае. Стал переписывать начисто историю болезни маленького Джо и словно заново увидел, как, улыбаясь во сне, спал после победы усталый Даниил Кириллович в тени дерева на берегу ручья.

Своему заражению Заболотный посвятил в статье только несколько скупых строчек, набранных петитом. Да и то лишь потому, что немного насчитывалось на земле людей, которые перенесли бы чуму и могли рассказать о своих ощущениях во время болезни.

Вечерами, когда Даниил Кириллович, закончив свои дела в Петербурге, приезжал в «Чумной форт», мы затапливали печку и, пристроившись на полу перед ней, пили чай, следя за причудливой игрой огня, вели долгие беседы.

Больше всего, конечно, нас волновала загадка чумных эпидемий в Вейчане и в Монголии. Даниил Кириллович упорно склонялся к тому, что хранят чумных бактерий, видимо, все-таки тарбаганы. От них она и передается людям.

— Но откуда тогда берется чума среди тарбаганов? — недоумевал я. — Или тут замкнутая цепочка: люди заражают сусликов, те хранят бактерии, чтобы потом болезнь, словно бумеранг, обратно поразила людей?

— А что же, вполне возможно. Ты же видел, как в степи хоронят покойников? По буддийскому обычаю, их просто, не закапывая, оставляют лежать в степи, чтобы хищные звери и птицы растерзали труп. Кровь пропитывает землю, орошает траву, которой питаются тарбаганы. А если покойный умер от чумы?

Удивительны, незабываемы были эти вечерние беседы в полутьме маленькой сводчатой комнатки, по стенам которой качались и прыгали причудливые тени, а за толстыми крепостными стенами завывал ветер, шумело зимнее море, мокрый снег хлестал в окна!

Подбирая материалы для задуманной Заболотным статьи об эндемичных очагах чумы, я перерыл горы книг. Из древних летописей выписывал первые дошедшие до нас сведения о набегах «черной смерти» на русскую землю:

«1352 год: «Бысть мор зол в граде Пскове, началось из весны, на цветной неделе, тоже и до самыя осени, уже перед зимою преста. Сица же смерть бысть скоро: хракнет человек кровию и на третий день умираше».

1360 год опять в Пскове: «Бяша тогда се знамение: егда кому где выложится железа, то вскоре умираше».

1364 год в Нижнем Новгороде: «Хракаху людие кровию, а инии железю болезноваху един день, или два, или три, и мало неции пребывше и тако умираху...»

Станным очарованием веяло от этих старинных слов. А какая точность выражений — ей может позавидовать каждый врач!

Я снова перечитывал изумительные труды Данилы Самойловича, переводил некоторые из них, почти неизвестные в России, с торжественной латыни. Страница за страницей штудировал замечательную по своей обстоятельности и точности работу покойного Г. Н. Минха о чумной эпидемии в Ветлянке.

В эту большую станицу, затерявшуюся в астраханских степях,

«черную смерть» занесли в 1878 году казаки, возвращавшиеся из турецкого похода. Эпидемия погубила почти четверть всех жителей Ветлянки. В борьбе с ней погибли, как бойцы на посту, три врача и семь фельдшеров.

Я внимательно рассматривал схемы, приведенные в книге Минха. Они очень наглядно и убедительно показывали, как чума передавалась от одного человека к другому в громадной казачьей семье Беловых, насчитывавшей с внуками и правнуками свыше восьмидесяти душ.

Мое внимание привлекла одна странная легенда, записанная в местах эпидемии пунктуальным Минхом. Она удивительно перекликалась с тем рассказом о «смертельном кладе», что слушали мы вечером у костра в монгольском аиле. Я переписал ее и показал Заболотному:

«Говорили, что Агап Харитонов, первым среди жителей Ветлянки заболевший чумой, незадолго до начала эпидемии проходил по селу Никольскому. У крайнего двора сидел старик. Когда Харитонов поравнялся с ним, старик спросил:

— Хочешь ли ты золота или серебра? Только несправедное это богатство.

Агап сказал, что от золота никто не отказывается. Тогда старик показал рукой: — Иди во двор, отроешь клад. Уходя с мешком, полным золота, Харитонов обратился к старику:

— Чем могу я отплатить за подарок?

— Ты поздно спрашиваешь. За клад заплатишь ты, и твои, и твои от твоих. Как в семи дворах топор один, столько останется народу в Ветлянке...»

— Мрачноватая легенда, — сказал Даниил Кириллович, прочитав мою выписку. — Признаться, я ее тоже отметил, когда перечитывал Минха. Что-то в ней есть, несмотря на явную суеверную фантастичность.

— Конечно! — горячо подхватил я. — Ведь не случайно в обеих легендах говорится о том, что чума каким-то неведомым способом может таиться в земле и потом передаваться людям через вещи, — скажем, через вырытые клады.

— Ну, клады-то, вероятно, припутаны сюда уже народной фантазией, — усмехнулся Даниил Кириллович. — Хотя нечто похожее наблюдал Самойлович на эпидемии в Кременчуге.

Он начал рыться в книгах и бумагах, наваленных на столе, продолжая в то же время рассказывать:

— У одного солдата, сообщает Самойлович, заболела чумой жена. Когда она умерла, солдат и двое его детей были заперты в карантин. По истечении срока их отпустили домой вполне здоровыми. И вот, вернувшись

в ридну хату, солдат этот первым делом полез на чердак, чтобы забрать запрятанную там перед уходом из дому тряпицу с десятью серебряными рублями. Этого было достаточно, чтобы он заразился и через несколько дней отдал богу душу. Я даже выписал где-то, как метко выразился по этому поводу Самойлович. Вот пожалуйста: «Солдату нанес сей рублевик удар смертельный...»

Однако заниматься научными изысканиями у Даниила Кирилловича оставалось очень мало времени. Много хлопот доставляли работы по оборудованию под лаборатории тесных крепостных келий «Чумного форта». Увлекала Заболотного и преподавательская работа в Женском медицинском институте — ведь созданная им кафедра микробиологии была, по существу, первой в России.

Нередко мне приходилось по просьбе Даниила Кирилловича ездить с ним в институт и помогать на лекциях и при лабораторных занятиях в качестве ассистента.

В те первые годы вся кафедра умещалась в двух маленьких комнатках анатомического корпуса института, а весь ее штат состоял из Даниила Кирилловича и мрачноватого служителя, имя которого я, к сожалению, теперь уже запамятовал. Одна из комнат была отведена под лабораторию, но ее так заставили громоздкими шкафами, что мы с Заболотным частенько всерьез удивлялись, как это в ней помещается целая академическая группа из двенадцати студенток да еще остается место для необходимых приборов.

А студентки были молодые, бойкие на язычок и весьма смешливые. Позднее из этих первых учениц Даниила Кирилловича выросли замечательные микробиологи, а В. Дембская, О. Подвысоцкая, А. Городкова сами стали профессорами. Но в те годы, когда они еще занимались на первом курсе, Даниил Кириллович чувствовал себя порой весьма неуверенно в этом «женском царстве», как он его называл.

Как и в бытность преподавателем Киевского университета, когда мы с ним впервые встретились, Заболотный на лекциях часто смущался, краснел, заикался, хотя теперь вроде уже стал профессором и пользовался большим уважением в ученом мире.

— Ей-богу, насколько в путешествиях спокойней, чем с этими стрекотухами! — нередко жаловался он после лекции.

Никаким особым ораторским талантом Заболотный не обладал, но лекции его всегда получались очень интересными. К каждой лекции мы готовили много диапозитивов или просто фотографий, заснятых во время путешествий. Самые сложные теоретические вопросы он объяснял просто и доходчиво. И непременно «подкреплял» каждую лекцию интересными

практическими работами, в которых всегда сам принимал участие наравне со студентками.

Он вообще держался с молодежью очень просто и доброжелательно, как равный. Всегда был готов ответить на любой вопрос, лекции перемежал шутками, а после занятий нередко надолго задерживался в аудитории или даже просто где-нибудь в коридоре, и тогда начинались бесконечные оживленные беседы обо всем на свете: о модной в те годы реакции Вассермана и об играх монгольских детей, о новых рассказах Горького и технике прививок. Очень забавно, помнится, изображал Даниил Кириллович, как неудобно ему было двигаться с пробиркой под мышкой, когда он решил в Вейчане превратить себя в «походный термостат», и как я якобы прыгал и «кудахтал» вокруг него, еще больше затрудняя ему работу.

С этих лет началась у Даниила Кирилловича «безнадежная хроническая болезнь», по его собственному выражению, мучавшая его всю жизнь: отсутствие денег. Тому пять рублей, другому десять — через несколько дней после получки Заболотный уже раздаривал всю зарплату. А потом видишь, как, сев в конку, он долго, все более смущаясь, шарит по карманам и, наконец, говорит:

— Слушай, Володя, возьми и на меня билет... Бис його батька знае, куда-то гроши заховались!

Очень любил он всем делать подарки по любому случаю и особенно устраивать после занятий общие чаепития, для которых закупал в лучших кондитерских невероятное количество всяких сладостей. Такие пиршества всегда проходили весело и по-домашнему уютно: пели, читали стихи. Даниил Кириллович тут же сочинял весьма забавные и меткие шуточные экспромты на своих учениц или на всем известных весьма почтенных профессоров института.

Забавно проходили у него экзамены. Заболотный не придавал им особого значения.

— Если я не узнал как следует студента, занимаясь с ним каждый день в аудитории или в лаборатории, — говорил Даниил Кириллович, — то, скажите на милость, как же я могу распознать в нем будущего ученого из путаных от волнения ответов возле экзаменационной доски?

Идет экзамен. Даниил Кириллович в чудесном настроении рассказывает по аудитории, жмурится от яркого весеннего солнышка и даже, кажется, едва слышно что-то совсем несолидно насвистывает. А студентка — не буду называть ее фамилии, потому что теперь она уже сама давно профессор и даже член-корреспондент Академии медицинских наук, — эта бедная студентка чувствует себя совсем скверно. Ей достался

несчастливый билет, и она что-то жалобно мямлит, заикается, то и дело впадая в длинные, тягучие паузы.

Мне уже хочется как-нибудь подсказать ей ответ. Но вдруг Даниил Кириллович резко останавливается и строго говорит мне:

— А вы не забыли потушить горелку в лаборатории?

— Кажется, нет.

— Вот видите: кажется. А вы лучше проверьте.

Пожав плечами, я направляюсь к двери. Но едва выхожу в коридор, как меня нагоняет Заболотный.

— Я вспомнил: горелка потушена, сам гасил. Это я просто так — надо ей успокоиться, — заговорщицки шепчет он мне. — Давайте погуляем.

Когда мы через несколько минут возвращаемся с ним в аудиторию, повеселевшая студентка так и сыплет без остановки латинскими терминами...

Но однажды Даниил Кириллович рассвирепел — если можно применить к нему такое выражение — и выгнал с экзаменов всю группу. Произошло это так. Все течет нормально, хорошая, усидчивая студентка отвечает бойко и складно. И вдруг останавливается буквально на полуслове.

— Ну? Дальше продолжайте, — удивленно говорит Заболотный.

Студентка молчит, только вся багровеет.

— Вы не выучили этого раздела? А он очень важен. Позор! — начинает сердиться Даниил Кириллович. — Хорошо, пусть ответит кто-нибудь другой, а вы, уважаемая, ступайте в коридор и подумайте.

Но и другая студентка ничего не может ответить на вопрос Заболотного. Кого ни вызовет, все молчат, и Даниил Кириллович одного за другим отправляет их в коридор.

— Что с ними? Заговор? — расстроено спрашивает он меня, когда мы с ним остаемся в аудитории совсем одни.

Ларчик, однако, открывался просто. Никаких учебников в те годы у студентов-микробиологов еще не было. Вся группа, оказывается, готовилась к экзамену по чьим-то запискам, а в них, как на грех, пустяковый вопрос о числе жгутиков у холерного вибриона, который задавал каждому Заболотный, оказался пропущен.

Вся группа, конечно, была вызвана обратно в аудиторию, и курьезный экзамен завершился веселым чаепитием.

Вспоминаются и другие забавные случаи тех незабвенных лет.

Вскакиваю я как-то утром на ходу в конку и вдруг вижу Даниила Кирилловича, увлеченно беседующего о чем-то в углу с одной из

студенток. Они так заняты, что не замечают ни меня, ни кондуктора, пропитым басом выкрикивающего прямо над ухом Заболотного остановки. Прислушиваюсь — ничего не могу понять: какой-то сугубо медицинский разговор, так и пересыпанный латынью. И вдруг вижу, что Заболотный удовлетворенно кивает, достает из кармана маленькую записную книжечку, куда он вместо журнала вносил и расписания лекций и данные о противохолерных прививках, и делает в ней какую-то таинственную пометку.

Оказывается, он здесь, прямо в конке, переполненной пассажирами и медленно ползущей по петербургским улицам и переулкам, принимает экзамены!

— Что поделаешь, не хватает времени, — смущенно развел руками Заболотный. — Хоть разорвись!

Вскоре времени у Даниила Кирилловича стало немного больше. Заведовать всем хозяйством «Чумного форта» назначили ветеринарного врача, опытного бактериолога Владислава Ивановича Турчиновича-Выжникевича. Теперь он занимался и оборудованием лабораторий, и отбором лошадей, необходимых для производства сыворотки, и сложными дипломатическими переговорами в «высших сферах», которые совершенно не переносил Заболотный.

— Слушайте, я никогда не подозревал, что в России так богато дураков! — возмущался, бывало, Даниил Кириллович, возвращаясь под надежную защиту крепостных стен после очередных визитов к начальству. — И почему они все наверх всплывают, а? Или тут какой закон природы, нам пока неизвестный?

Нашим главным шефом числился принц Ольденбургский, дядя Николая II. Я с ним встречался как-то однажды и смутно запомнил длинное багровое лицо с прокуренными седыми усами, воинственно закрученными, как у германского кайзера — кумира всей последней царской семьи.

В какой-то, правда, степени нам было небезвыгодно иметь своим высоким начальником царского дядюшку: как-никак это облегчало многие хозяйственные проблемы. Беда заключалась в том, что принц Ольденбургский всерьез считал себя ученым и нередко вмешивался в наши дела. А об его, «научных» увлечениях лучше всего, пожалуй, свидетельствует один забавный случай — о нем нам как-то вечером, заливаясь смехом, поведал Выжникевич, только что побывавший в Петербурге.

— Прихожу я к светлейшему, начинаю докладывать, как идет работа. Вижу, он сидит как на иголках, слушает меня невнимательно. Вроде все

время прислушивается к чему-то в соседней комнате. Потом вдруг вскочил: «Обождите минуточку, молодой человек», — и ушел. Возвращается минут через десять, что-то бормочет, качает головой. Я ничего не понимаю, однако продолжаю доклад. Вдруг старенький слуга опять перебивает: «К вам, ваше высочество, его превосходительство господин министр финансов Сергей Юльевич Витте...»

Я хочу откланяться, но принц не отпускает: «Останьтесь, может быть, мне понадобится какая справка».

Сажусь скромненько в уголок, жду. А старик заводит с Витте какой-то страшно занудный спор о финансах и о том, что министерские чиновники, дескать, не оказывают ему должного уважения... И говорит сбивчиво, потому что все продолжает к чему-то прислушиваться. А потом: «Извините, Сергей Юльевич, я на минуточку». И опять убегает, оставив нас в полнейшем недоумении.

«Вы не знаете, что это с ним?» — спрашивает у меня Витте.

«Не знаю, ваше превосходительство».

«А куда это он убежал, не знаете?»

«Не знаю, ваше превосходительство!»

«Странно...»

Сидим так долго, минут двадцать. Витте дергается как на иголках. И вдруг в комнату врывается сияющий принц и кричит во все горло, хлопая в ладоши: «Проснулась! Проснулась!»

«В чем дело, ваше высочество? — вскакивает Витте. — Кто-проснулся?»

И знаете, что ему отвечает наш сиятельный шеф и научный руководитель?

«У меня в доме, — говорит, — есть старенькая нянюшка, очень старая. Она несколько дней тому назад уснула и все не просыпалась. Принимали различные меры — она все не просыпалась. И вот я пришел сейчас туда и закатил ей громадный клистир. И вы подумайте, — едва ей поставили клистир, ока вскочила и проснулась. Вот вам сила науки!..»

Тут я, признаться, порадовался, — закончил Выжникевич под общий хохот свой рассказ. — «Слава богу, — думаю, — что он еще не заставил нас проводить этот замечательный опыт!..»

Избавившись от административных забот, Даниил Кириллович смог, наконец, опять вплотную заняться работой над незаконченными статьями, подводившими первые итоги его борьбы с «черной смертью». Снова начались наши увлекательные вечерние беседы.

Но ненадолго. Вернувшись однажды летним вечером из Петербурга,

Даниил Кириллович зашел в мою «келью», и я сразу по глазам его догадался, что опять предстоит какое-то путешествие. На сей раз я сам опередил его вопросом:

— Куда же мы едем, Даниил Кириллович? Он засмеялся.

— Ого, да ты стал знахарем! Просто чудо, а не помощник! Тогда ворожи дальше, догадывайся сам.

Из кармана у него торчала газета, сложенная по случайности так, что мне был виден кусок заголовка: «...ма в Пер...»

— Да что тут гадать, — снисходительно проговорил я, — это и ребенку ясно: в Персию.

Голубые глаза Даниила Кирилловича наполнились таким детским удивлением, что теперь уже не выдержал и расхохотался я и, вытянув у него из кармана газету, торжествующе помахал ею в воздухе.

Всю эту белую ночь напролет мы сидели над картой, отмечая на ней по газетным заметкам и телеграммам названия древних городов, атакованных «черной смертью»: Бушир, Сулеймания, Керманшах, Касим... От них веяло очарованием древних караванных путей, затейливых сказок «Тысячи и одной ночи».

А через полмесяца я увидел своими глазами и Сулейманию, и Керманшах, и Шираз, воспетый бесчисленными поэтами. И всякое очарование пропало, потому что рядом с древними и действительно прекрасными памятниками — дворцами, мечетями, развалинами сказочных городов — мы увидели смерть, грязь и нищету, тоже вековую, древнюю...

Почему-то об этом путешествии остались весьма смутные и какие-то отрывочные воспоминания. Времени у нас было мало, а работы много. Опять мы часами, выводя из себя переводчиков, расспрашивали паломников, отмечая на карте их дороги к «святым местам» и обратно на родину. Набирали в пробирки тухлой воды из городских бассейнов. Даниил Кириллович уговаривал всех встречных посмотреть на эту страшную воду в микроскоп. Правверные паломники не могли удержаться от удивленных возгласов, когда в ярко освещенном кружке перед ними копошились мириады живых смертоносных существ, похожих на палочки, кружочки, запятые.

— Неужели они действительно умещаются в капле воды? — недоверчиво качали головами седые старики.

А другие только воздевали руки к небу и восклицали:

— Велик аллах, сколько он создал чудес!

Когда мы пытались объяснить, какую угрозу таит каждая капля воды из грязных колодцев, паломники только невозмутимо пожимали плечами:

— Иншалла!.. Если угодно аллаху!..

Да, снова и снова мы убеждались, что чума прежде всего болезнь социальная. Как уничтожить ее, когда в нищих селениях нет ни школ, ни больниц, от всех болезней пользуют доверчивых людей наговорами и травами местные знахари — табибы? Не удивительно, что «черная смерть» издавна властвует в этих местах.

Может быть, все дело только в этом? Может быть, при таких условиях чума губит здесь людей хронически, постоянно, просто ускользая от внимания редко посещающих эти селения врачей?

А потом болезнь отправляется отсюда, выбрав удобный момент, за тысячи километров в дальние края. Купцы везли ее, невидимую, в Бухару, радуясь уже близкому дому. Но как часто радость их оказывалась недолгой! Из чужих краев они приносили в родной дом и смертельного врага, не знающего пощады.

Если в Джиdde на раскаленном аравийском берегу сходились морские пути паломников и оттуда корабли могли развезти чуму по всему свету, то здесь, в Персии, причудливо переплетались караванные тропы мусульман, отправившихся из самых различных стран на поклонение в Мекку. Пешком через высочайшие перевалы Гималаев добирались сюда индийцы. Шли, славя аллаха, турки, кавказские горцы, татары из далекой Казани. И разносили повсюду невидимую «черную смерть».

Многое стерлось в памяти, но никогда не забуду я одну необычную встречу того давнего путешествия по персидским караванным путям...

Поздно вечером добрались мы до благословенного Шираза, о котором Даниил Кириллович уже давно прожужжал мне все уши.

— Это же древний город поэтов. Тут похоронен Саади... Надо непременно побывать на его могиле. Знаешь, что на ней написано? — И, закрыв глаза, Заболотный торжественно произносит нараспев: — «Он отдал свое сердце земле, хотя и носился по свету, как ветер... Как ветер, который после его смерти развеял по миру благоухание цветущих роз его сердца. Прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть всю красоту мира и оставить после себя в нем чекан души своей...» А, каково сказано?!

И вот мы подъезжаем к Ширазу. Теплая ночь укрыла всю городскую грязь и, пожалуй, даже меня начинала настраивать на какой-то лирический лад. Вдоль белой от пыли дороги неподвижно выстроились высоченные тополя. Лунный свет серебрил их голые серые стволы, словно колонны какого-то храма, мягко и трепетно заливал призрачным сиянием уснувшие сады. Оттуда, из-за глиняных дувалов, доносился пряный запах цветов и влажной, прогретой земли. И, конечно, как полагается, в садах щелкали,

заливались воспетые поэтами знаменитые ширазские соловьи...

Большой караван отдыхал на лужайке у самой дороги. Покачиваясь на длинных голенастых ногах, дремали верблюды. Я насчитал их около тридцати — большой караван. И у каждого в плетеных корзинках на спине по два седока.

— Какой людный караван! — оживился Заболотный. — Надо бы расспросить, куда едут, откуда.

Никто не откликнулся на его голос. Седоки оставались неподвижны, словно зачарованные этой колдовской ночью.

Я слез со своего ишачка и, держа его в поводу, направился к каравану. Ишак упирался. Уже изучив его строптивый нрав за время путешествия, я прибег к испытанному средству — хворостине. Но на этот раз она не помогала. В него словно злой дух вселился. Он брыкался, вставал на дыбы, ни за что почему-то не желая идти на лужайку. Напуганные его скачками, забеспокоились верблюды. Прокляв зловредного ишака, я наскоро привязал его к ближайшему дереву и один пошел дальше.

Окликнул одного из путников — он не ответил. Повторил традиционное дорожное приветствие громче — сидевший неподвижно в корзине человек, нарушая все законы восточного гостеприимства, молчал.

Неужели он так крепко спит? Я потянул его за рукав белого бурнуса — и отшатнулся. Человек, сутуло сидевший в плетеной корзине на спине верблюда, был мертв. Он оказался крепко привязан ремнями.

Я повернулся к его соседу. И тревожный вопрос, который я собирался ему задать, так и остался у меня на губах. И этот человек был мертв. Холодный свет луны отражался в его остекленевших глазах.

— Что с вами? — окликнул меня с дороги Заболотный.

Я ничего не смог ответить, только неистово замахал рукой.

Заболотный направился ко мне, но его лошадь тоже отказалась приближаться к каравану: ее, как и ишака, отпугивал запах смерти.

— Слезайте и идите сюда пешком, — каким-то сдавленным голосом позвал я Заболотного. — Лошадь не пойдет, привяжите ее к дереву.

Пока он привязывал лошадь, я осмотрел двух верблюдов. На каждом точно так же сидели в переметных дорожных корзинах по два мертвеца. Это походило на какой-то страшный, неправдоподобный сон.

Мы обошли с Заболотным весь караван. Шестьдесят два путника — и все мертвы.

Только одного живого отыскали мы на лужайке. Он спал под деревом на рваной кошме, и я едва не наступил ему на руку. Тогда он торопливо вскочил.

Это был караванбаши. С трудом, не столько словами, сколько жестами, он объяснил нам, откуда взялся на залитой лунным светом лужайке возле стен древнего Шираза этот страшный караван мертвецов.

Оказывается, мусульмане-шииты почитают священными окрестности двух городов в Персии — Керфелы и Неджефа. Каждый правоверный перс мечтает быть погребенным именно здесь. Отсюда он быстрее и вернее попадет в рай. И каждый год с разных концов страны идут в Кербелу и Неджеф караваны с мертвецами, завещавшими их похоронить непременно в священной земле...

Потом мы несколько раз встречали такие караваны. Но эта первая ночная встреча у стен Шираза навсегда врезалась в память и даже сейчас, спустя вот уже шесть десятков лет, никак не забывается.

В городе Ханекин Даниил Кириллович записал в свою тетрадь — конечно, она уже давно была обновлена, но тоже успела стать такой же пухлой и потрепанной, как и в Индии, и также заполненной самыми поразительными сведениями, — что только за один прошлый год через его приземистые городские ворота проследовало почти тридцать тысяч паломников, из них три тысячи — мертвых...

Только вернувшись в Россию, смогли мы в покойной тиши «Чумного форта» привести в порядок все записи наблюдений и вычертить карту персидских караванных путей, по которым живые и мертвые паломники развозили «черную смерть». Эти материалы вошли в статью «Эндемические очаги чумы на земном шаре и причины ее распространения», которую Даниил Кириллович, наконец, дописал и отправил в «Русский архив патологии».

Статья невелика, она не заняла и десяти журнальных страниц. Но мысли, высказанные в ней, определили всю дальнейшую борьбу с «черной смертью». Это были не только первые итоги работ молодого профессора Заболотного, которому исполнилось в то время всего тридцать три года, но и поразительно смелый загляд в будущее.

Два важнейших вывода сделал в этой статье Заболотный, опираясь не только на опыт своих собственных путешествий, но и на громадный материал, собранный другими исследователями в разных странах. В-первых, он выделил социальный фактор в распространении чумы:

«...Если мы проникнем в хижины индийцев, в мазанки китайцев или пройдем по улице восточных городов, особенно на базары, то многое станет понятным. В одной комнате помещаются 10–20 человек. Спят они или на полу (в Индии), или

на лежанке, занимающей половину фанзы (китайская мазанка). Больные помещаются вместе со здоровыми... Тротуары заняты сплошь отдыхающими или спящими людьми, явившимися в город на заработки. Обстановка их жизни живо напоминает условия, создаваемые искусственно для животных, крыс или обезьян, когда их сажают совместно больных и здоровых в одну клетку для наблюдения экспериментальной эпидемии...»

Подробно описал Даниил Кириллович в статье и все изученные им дороги чумы — морские и сухопутные.

Тут все было теперь ясно: надо создавать прочные санитарные кордоны на всех дорогах чумы. Но по-прежнему непонятной оставалась главная загадка «черной смерти». Почему в некоторых районах земного шара, подробно перечисленных в статье, чума свила себе прочное гнездо? Почему эпидемии возникают в таких местах из года в год? Где прячется болезнь в перерывах между ними?

Даниил Кириллович попытался ответить и на эти вопросы.

«При сравнении всех известных нам эндемических очагов чумы, — писал он, — мы замечаем общую черту: одновременно с заболеваниями на людях наблюдаются заболевания среди животных. Громадная смертность среди крыс констатируется везде.

Кроме того, известны самостоятельные заболевания среди обезьян (Hankin), белок (Haffkine) и в последнем случае — среди тарбаганов и сусликов.

Различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, в которой сохраняются чумные бактерии. Отсюда явствует, как важно выяснять всегда повальные заболевания водящихся в данной местности грызунов...»

«Различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, в которой сохраняются чумные бактерии...» — так впервые еще в 1899 году высказал Заболотный смелую гипотезу, которой потом суждено было стать главной, руководящей научной идеей в борьбе за полное искоренение «черной смерти» с лица земли. Из этой гипотезы, в сущности, возникла потом целая новая отрасль науки — медицинская география, учение о природной очаговости болезней, так блистательно развитое учениками и последователями Даниила Кирилловича.

Но тогда, в 1899 году, это была лишь еще только гипотеза, гениальная догадка. Ее еще предстояло доказать, подтвердить точными, непреложными фактами.

И никто из нас и не представлял тогда, сколько лет уйдет на это, сколько сил и человеческих жертв отнимет!

«ЧУМНОЙ ФОРТ» ОТРАЖАЕТ АТАКИ



Начало нового, XX века мы отметили будничной работой в лабораториях «Чумного форта».

Рабочий день в нашем «Шильонском замке», как окрестил его Заболотный, начинался рано. В семь часов утра заспанный жандарм открывал тяжелые скрипучие ворота. К этому времени из Петербурга приходил небольшой пароходик, привозивший продукты. Их сгружали на пристани, но забирать их в форт разрешалось лишь после того, как пароходик отвалит.

Заведующий лабораторией Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич ввел строгий порядок, практически исключавший всякую возможность случайного заражения. А оно могло бы представлять грозную опасность вблизи такого города, как Петербург. Эти строгости очень нравились Заболотному, не устававшему напоминать нам, что «осторожность — первая добродетель микробиолога».

Внутри весь форт был разделен как бы на два самостоятельных мира. В одной половине — жилые комнаты, кабинеты, отличная библиотека, где мы любили собираться вечерами. А на другой — «заразной половине», как мы ее называли, — лаборатории, куда можно заходить только для работы, каждый раз по особому разрешению.

Работали мы в специальных костюмах из тонкой прорезиненной материи, на ногах — калоши. Потом все это каждый вечер тщательно мылось в карболовой кислоте, а калоши еще дополнительно в крепком растворе сулемы.

Защитные костюмы страшно связывали движения. Но мы мирились со всеми предосторожностями, понимая их необходимость, хотя и ворчали порой «по младости лет».

Работа у нас была однообразная. День за днем мы готовили противочумную сыворотку и вакцину, старались сделать их более спасительными, действенными. При этом приходилось иметь дело с самыми смертоносными видами чумных бацилл. Тут действительно одно неосторожное движение или разбитая пробирка могли наделать немало бед.

Шипение спиртовых горелок, бульканье переливаемых жидкостей, одной капли которых хватило бы, чтобы заразить весь Петербург, прогревание готовых флаконов с сывороткой — однообразная, монотонная работа с утра до вечера. Только изредка мы выходили покурить в тесный тюремный дворик, где посадили общими силами несколько деревьев. Но росли они медленно, неохотно.

Интереснее было возиться с пробами чумных бактерий, которые поступали к нам в лабораторию не только со всех концов России, но и из других стран, и хранились в особых шкафах — термостатах при строго постоянной температуре. Закрыв рот маской, чтобы не вдохнуть ненароком «черную смерть», тонкой платиновой проволокой, которая не окисляется и потом легко стерилизуется, надо было осторожно переносить капельку невинной на вид жидкости, кишасцей микробами, на слой агар-агара, где чумные палочки начнут быстро размножаться. Тут все-таки немножко пахло исследованиями, можно было надеяться совершить какое-нибудь открытие. Вдруг, например, посчастливится обнаружить возбудителя новой болезни, еще неведомой науке?

Но дни шли за днями, однако никаких особенных открытий никто из нас не делал.

Ровно в восемь часов вечера крепостные ворота закрывались, и громадный ключ от них торжественно вручался Выжникевичу.

При таком монастырско-тюремном режиме приезд из Петербурга

Заболотного становился общим праздником. Тогда далеко за полночь не гасли огни в решетчатых окнах форта, и в библиотеке, где в шкафах за стеклом тускло мерцали золоченые обрезы толстых томов, велись увлекательные беседы, нередко переходившие в весьма ожесточенные научные споры.

Гипотезу Даниила Кирилловича о роли грызунов как хранителей чумных бактерий в природе встретили в штывы многие исследователи. Против нее выступал Высокович, продолжая спор, начатый еще в Индии.

— Что крысы могут распространять чуму — согласен, — говорил он. — Но суслики, тарбаганы — весьма сомнительно!

Турчинович-Выжникевич, по специальности, как я уже говорил, ветеринарный врач и знаток животных, также сомневался в гипотезе Заболотного. Он считал себя учеником Даниила Кирилловича, очень уважал и ценил его, но не боялся с ним поспорить, и это Заболотному нравилось.

— Ни Белявский, ни Решетников не добыли доказательств, будто тарбаганья болезнь идентична с людской чумой! — выкрикивал на всю библиотеку Выжникевич, всегда споривший запальчиво и напористо. — И вам, Даниил Кириллович, не удалось поймать ни одного суслика, заболевшего чумой. А Ланге вон вообще утверждает, что это просто сибирская язва. Вопрос остается открытым, и, может, «тарбаганья болезнь» ничего не имеет общего с чумой, хотя и способна перекидываться на людей.

Да, Выжникевич прав: прямых улик нет. Даниил Кириллович отправляет одну за другой небольшие экспедиции в Забайкалье специально для изучения таинственной «тарбаганьей болезни». Талько-Гринцевич обнаруживает три очага чумы на северо-западе Монголии. Местные жители рассказывают ему, будто каждый раз эпидемии предшествовал массовый мор среди тарбаганов. Но ни одного чумного тарбагана опять не поймано.

На следующий год в Монголию едет доктор Скшиван. «При расспросах проживающих в Урге лам, местных охотников монголов и приезжающих кочевников я мог убедиться, насколько общеизвестна в Монголии эта болезненная форма, возникновение которой единогласно приписывается переносу с больных сурков», — записал он в отчете. Но опять-таки это только слухи, а прямых доказательств нет.

В лабораториях «Чумного форта» мы пробуем заражать чумой сусликов, мышей, тарбаганов, специально привезенных из далекой Монголии. Чтобы вызвать легочную чуму, бактерии приходилось

распылять в воздухе. Это были опасные опыты: «черная смерть» бушевала, отделенная от исследователей только тонкой и хрупкой стеклянной стенкой. Достаточно неосторожным движением сдвинуть маску и сделать вдох — и уже никакие лекарства в мире не спасут заболевшего. Заболотный и Выжникевич обычно проводили такие опыты сами.

Оказалось, что все грызуны необычайно восприимчивы к заражению чумой. Новая улика?

— К сожалению, это еще не доказывает, что они могут болеть чумой сами по себе, в обычных для них природных условиях, а тем более долго хранить чуму. Типичное *pop sequitur*,^[2] — упрямо говорит Турчинович-Выжникевич.

И Заболотный ничего не может возразить ему.

Нередко в эти споры ввязывался и приезжавший к нам «на огонек», как он любил говорить, главный врач Кронштадтского морского госпиталя и порта Василий Исаевич Исаев. Он был крупным ученым, обогатившим науку несколькими выдающимися открытиями по иммунитету против различных опасных болезней. Высокий, худощавый, с глубоко запавшими глазами, он всегда так и кипел энергией и был весьма горяч в споре. Пожалуй, лучше всего характер его выразился в крылатой фразе, которой он ответил во время одного своего юбилея на приветствия друзей, товарищей, учеников.

— Спешите трудиться, — коротко, словно на ходу, сказал им Василий Исаевич.

Исаев также уже давно интересовался чумой и несколько раз выезжал в астраханские степи, где после Ветлянской эпидемии то и дело снова возникали вспышки подозрительных заболеваний. Многие отрицали, будто это «черная смерть» рыскает в заволжских степях. Но Исаев утверждал, что это, несомненно, чума и сохраняется она в этих краях, вероятно, со времен Ветлянской эпидемии в скрытой, ослабленной форме, только иногда разгораясь, словно степной пожар.

— Хранят ее сами люди, а тарбаганы тут ни при чем, — говорил Василий Исаевич. — Да и нет никаких тарбаганов в астраханских степях.

Вдвоем с Выжникевичем они, бывало, крепко наседали на Заболотного в этих полуночных спорах, загоняли его иногда в угол не фигурально, а буквально, — и тогда Даниилу Кирилловичу не оставалось ничего другого, как поднимать руки.

— Сдаюсь. Вы правы: «не пойман — не вор...» Но на самом деле сдаваться он вовсе не собирался. Сам рылся в книгах, по крупицам выуживая из них отрывочные сведения о непонятных, еще не получивших

объяснения заболеваний среди сусликов и тарбаганов; и я по его просьбе в свободное время занимался подбором материалов, которые могли бы подтвердить его гипотезу.

— Понимаешь, она ведь очень перспективна, — говорил мне доверительно Заболотный. — Если я прав и грызуны действительно служат хранителями чумы в природе, то мы сможем перейти в наступление на болезнь, поражать ее в собственном проклятом вогнище, не ожидая, пока она вырвется на свободу.

Мы мечтали об этом, но «черная смерть» не дремала и то и дело сама переходила в наступление. Летом 1900 года чума объявилась не где-нибудь на окраинах, не в нищей Индии и не в забытых богом монгольских степях. Нет, она стала наносить удар за ударом в самом центре культурной и цивилизованной Европы, в дымном и многолюдном шотландском городе Глазго. И Даниил Кириллович, бросив все дела, срочно отправился туда, на передний край битвы.

Эпидемию в Глазго удалось ликвидировать сравнительно быстро — ведь это была не колониальная Индия. Госпитали здесь были хорошо оборудованы, не то что жалкие временные бараки в Бомбее, вполне хватало врачей и сыворотки. По газетам мы следили за ходом схватки, радовались, что наша сыворотка в руках Заболотного приносит спасение одному больному за другим, и с нетерпением ждали возвращения Даниила Кирилловича, его подробных рассказов.

Но ждать его возвращения пришлось долго. Не успела утихнуть полностью эпидемия в Шотландии, как тревожные вести разнес по всему миру телеграф из Марокко. И Заболотный помчался туда. Затем ему пришлось еще заехать в Португалию, где также вспыхнула чумная эпидемия. Так что вернулся он под своды «Чумного форта» только осенью.

— Становлюсь каким-то чумагоном, противочумным коммивояжером, ей-богу, — забавно жаловался он, грея дождливым вечером ладони о стакан горячего чая в нашей столовой. — Как это у Пушкина: «То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай... То ли дело, братцы, дома». А тут то и дело: «Ну, пошел же, погоняй!..» Да куда: в Англию, в Африку, в Португалию. Ну, дудки, теперь по крайней мере год никуда не поеду!

Но не прошло и недели, как ему уже пришлось по срочному вызову ехать в Самару: «Есть несколько случаев заболевания смертным исходом требуется консультация опытного бактериолога местные анализы сомнительны».

А из Киева такой же телеграммой был вызван Высокович.

К счастью, тревога оказалась ложной. Местные медики приняли за

чуму очень каверзный и редкий случай нескольких одновременных заболеваний малярией. Только благодаря опытности Заболотного и Высоковича удалось быстро распознать так ловко замаскировавшуюся под чуму болезнь.

Но вернуться в Петербург Даниил Кириллович не успел. Он вызвал меня короткой телеграммой: «Срочно выезжайте Астрахань захватите побольше сыворотки».

Еще по пути из Астрахани в степное село Владимировку мы поняли: здесь чума настоящая, без подделок: в стороне от дороги торчала из снега рука со скрюченными пальцами. То была первая веха на скорбном пути «черной смерти».

На пустынную степь быстро опускались синие сумерки. Вдалеке уже сверкнули первые робкие огоньки Владимировки, как вдруг дорогу нам преградили две громоздкие фигуры в тулупах. Одна из них направляла на нас ружье.

— Стой! Кто такие? — прохрипела фигура простуженным басом.

А другая добавила неожиданным мальчишеским фальцетом:

— Дальше дороги нет. Карантин. — Это непривычное слово ему, видно, нравилось. Он повторил снова: — Поворачивай назад, карантин — и все.

Мы вышли из саней.

— Это кто же вас тут поставил, хлопцы? — довольным тоном спросил Заболотный, приплясывая, чтобы размять ноги.

— Доктор, известно кто! — сказала фигура поменьше. — Полит Александрыч.

— И что же вы тут сторожите, мерзнете на ночь глядя? — продолжал допрашивать Заболотный, подходя к ним поближе.

Фигура с ружьем не двинулась с места, но вторая, отступя на несколько шагов, закричала:

— Сказано тебе, не подходи! А то дяденька Митяй стрелять будет. Карантин!

— Ну, ладно, ладно, — успокоительно сказал Заболотный. — Раз нельзя, нарушать порядков не будем. Мы тут подождем, а ты, хлопчик, беги за своим Полит Александрычем. Скажи: доктора ему в помощь из Петербурга приехали.

— Во как! Из самого Петербурга? — удивился закутанный в тулуп дядя Митяй. — Тогда беги, Санька, быстрее. Чтоб одна нога здесь, другая — там!

Мальчишка, путаясь в полах тулупа и проваливаясь в сугробы,

побежал в деревню. А мы закурили и завели разговор с дядей Митяем. Отвечал он на вопросы охотно, но довольно односложно, не пускаясь в подробности:

— Заболела первой Екатерина Тетеревятникова с хутора Малиева, слышали? Три дня повалялась — и преставилась. Потом умерло еще человек с десяток, руки у меня заняты, а то бы можно было посчитать точно. Больных? Да сейчас, верно, человек пятнадцать наберется по избам. Ходит за ними доктор с помощником. Но что у них получится, одному богу известно. Вон как в прошлом году в Колобовке: пока своих положенных смерть не забрала, дотоле не утихла. Так, видно, и у нас будет...

Нашу неторопливую беседу прервал скрип снега под быстрыми шагами. Сопровождаемый совсем выбившимся из сил мальчонкой, к нам подходил невысокий коренастый человек в ушанке. Очки в простой железной оправе, маленькая борода, на усах курчавится иней.

— Здравствуйте. Врач Деминский, Ипполит Александрович, — представился он.

Так на заснеженной дороге под морозными звездами познакомились мы впервые с замечательным человеком, чья героическая жизнь и трагическая гибель навсегда вошли в историю борьбы с «черной смертью».

В теплой избе, отпаивая нас чаем, Деминский рассказал, что всего заболевших во Владимировке двадцать шесть человек, одиннадцать из них уже умерли. Удастся ли отстоять остальных, пока не ясно. Чума бубонная, так что сыворотка может принести пользу.

— Особенно плоха Лена Мельникова, — сказал он, протирая очки. — И признаться: ее больше всего жаль. Совсем молодая, всего девятнадцать лет, да к тому же беременная, ждала сына... А надежды почти никакой...

Даниил Кириллович весьма одобрил меры, принятые Деминским для изоляции Владимировки: все дороги в село охранялись сторожами-добровольцами из местных жителей, больные надежно отделены от здоровых, никто из родственников к ним не может ходить, только врач и фельдшер. Дома заболевших подвергли дезинфекции, всем жителям деревни делаются предохранительные прививки.

— Вот только сыворотка у меня кончается, — пожаловался Деминский.

— Ну, сыворотки мы вам привезли на весь астраханский край! — успокоил его Даниил Кириллович.

Наутро Ипполит Александрович повел нас по деревне. Она была довольно большой, но какой-то страшно неуютной и неустроенной. Хатки с покосившимися соломенными крышами, на улицах ни дерева.

— С водой тут скверно, — пояснил Деминский. — Рядом Волга, Ахтуба, а тут настоящая пустыня, солончаки, ничего не растет. Колодцы приходится копать на глубину чуть ли не восемнадцати метров.

По пустынным улицам бешено метался степной ветер, надувая сугробы до самых окон. Неужели есть где-то на свете соловьиный Шираз, пылающий океан, пальмы?..

Даниил Кириллович осматривал больных и все больше восхищался аккуратностью и распорядительностью Деминского.

— Молодец! — то и дело повторял он. — А ведь совсем молодой. Сколько вам лет, коллега?

— Тридцать шесть.

— Как? Даже на два года старше меня? — поразился Заболотный. — А выглядите совсем молодцом. Расскажите-ка о себе.

— Curriculum vitae^[3] мое самое обыкновенное, — скупно улыбаясь, ответил Деминский. — Окончил медицинский факультет в Казани и с тех пор тружусь вот здесь, в разных градах и весях Астраханской губернии.

Только уже потом, стороной, от других мы узнали подробности нелегкой жизни Деминского. Он рано потерял мать и отца, учился на медные гроши. В Казанском университете ему дали небольшую стипендию; потом молодому врачу пришлось ее отрабатывать в самых глухих уголках Астраханской губернии, куда добровольно никто не хотел ехать.

И эта глухая уездная жизнь, погубившая так много молодых талантов, о чем с такой горечью говорит доктор Астров у Чехова, не засосала его, не сломила. Он не спился и не стал равнодушным циником. Деминский в каждой убогой степной дыре, куда его забрасывала прихоть равнодушного начальства, не только образцово налаживал медицинскую помощь, но и ухитрялся заниматься научной работой. Его интересовали и геология, и ботаника, увлекала смелая идея облесения сыпучих Рынских песков.

И это не были просто увлечения дилетанта, любителя. За работы по изучению почвы, климата, подземных вод и растительности астраханских степей Академия наук в 1898 году приняла Деминского в число корреспондентов своей главной физической обсерватории.

Деминский внимательно следил за всей научной литературой и сразу заинтересовался гипотезой Заболотного. Втроем мы обсуждали ее долгими зимними вечерами, прерывая беседы только для очередных обходов больных.

Эпидемия во Владимировке не проясняла загадки, а, пожалуй, даже сгущала, запутывала ее. Может быть, действительно, как утверждал Исаев,

чума стала в здешних краях хронической болезнью с тех пор, как бравые казаки ненароком занесли ее, возвращаясь из турецкого похода в родную Ветлянку? И с той поры она возникает то в одном селении, то в другом, никогда не прекращаясь, а только ускользая на время от внимания исследователей.

А возможно, ее заносят сюда все снова и снова паломники из той же Персии. Или привозят с товарами купцы по Каспийскому морю? Есть среди волжских калмыков и приверженцы ламаизма. Они уходят на поклонение за тысячи верст в древние монгольские монастыри. Может быть, оттуда заносят они «черную смерть»? Разными дорогами может подкрасться «черная смерть», и нелегко узнать, какие же из них наиболее опасны.

— Пока у нас никаких точных данных нет, но теперь я специально займусь наблюдением за сусликами, — делая пометки в блокноте, говорил Ипполит Александрович. — Тарбаганов у нас тут нет, но суслики ведь очень близки к ним...

Какая-то запись заинтересовала его.

— Любопытно. Вот у меня тут точно отмечено, что первой заболела из жителей Владимировки шестого ноября крестьянка Тетеревятникова Екатерина. И заболела она, работая на маленьком степном хуторе, где никого посторонних не было, так что заражение от пришлых людей исключается.

Заболотный подсел ближе к Деминскому. Они начали вдвоем рассматривать записи в блокноте.

— И вот, пожалуйста, еще: двадцать восьмого августа умер также в степи, у себя на хуторе, крестьянин Цимбалистов, имени, к сожалению, не записано. Умер он, по диагнозу фельдшера, от какого-то мифического «бубонного тифа», но это явная чума.

— Что же у вас за фельдшера, тиф от чумы отличить не могут! — возмутился Заболотный.

— Отличить могут, да боятся. Распоряжением свыше нам здесь вообще запрещено употреблять слово «чума». В прошлом году в Колобовке умерли двадцать три человека. Приезжал профессор Высокович, сам провел бактериологический анализ — несомненная *Pestis bubonica*. А высокое начальство приказало именовать эпидемию «острозаразными заболеваниями с высокой смертностью». То же продолжается и сейчас.

Заболотный мрачно кивал, слушая Деминского, и постукивал кулаком по столу.

— Да, Владимир Константинович рассказывал мне об этом, — пробурчал он.

Деминский вскочил и начал что-то искать среди бумаг и книг на полке.

— Давайте проверим Колобовку, — сказал он, развязывая папку и перебирая подшитые в ней документы. — Тут у меня все истории болезни. Вот первая больная. Мария Семакина, заболела шестнадцатого июля прошлого года, работая в степи на бахче.

Мы с Заболотный переглянулись,

— Дайте-ка, дайте, я перепишу, — оживился Даниил Кириллович. — Значит, в степи...

А Деминский уже протягивал ему другую справку.

— В прошлом году была еще небольшая эпидемия в казахском селении Ирсалы-Арал. Там первым заболел мальчик Айтал, привезен из степи уже мертвым...

— Итак, все дороги ведут в степь, — задумчиво пробормотал Заболотный, торопливо переписывая истории болезни в свою неразлучную тетрадь. — Значит, все-таки суслики. Но как же это проверить? Сейчас зима, все они попрятались в норы и спят.

Да, вокруг Владимировки лежали снега, надежно укрывшие до весны подземные норы сусликов. Правда, некоторые из них почему-то не впали в зимнюю спячку: несколько раз по утрам за околицей села мы замечали на свежем снегу цепочки легких следов. Но ни одного живого обитателя подземных нор нам так и не удалось подкараулить.

А выковыривать их из мерзлой земли, крепкой в здешних степных краях, как камень, у нас не было времени. Надо помогать Ипполиту Александровичу отстаивать жизни заболевших людей.

Заботы о самой тяжелой больной взял на себя Даниил Кириллович. Опять, как два года назад в Китае, мы, сменяясь, дежурили с ним дни и ночи у постели, на которой металась в жару девятнадцатилетняя казачка Лена Мельникова.

Заразилась она от мужа, погибшего за несколько дней до нашего приезда. Мы застали ее почти в безнадежном состоянии. И все-таки Даниил Кириллович не сдавался. Он боролся сразу за две жизни: не только за жизнь молодой женщины, но и за ребенка, которого она вот уже пятый месяц носила в себе. Даже в бреду Лена вспоминала еще не родившегося долгожданного сына.

Сорок, шестьдесят, семьдесят кубиков сыворотки... Что мы можем сделать еще? А ее бьет лихорадка, неистово скачет пульс, она никого не узнает.

Так проходит несколько дней на грани жизни и смерти.

Близится Новый год, где-то за праздничными столами люди уже

празднуют сочельник, готовят украшения для елок. Наверное, и у нас, в «Чумном форту», сейчас вечерами, собравшись в библиотеке, наши товарищи клеят нарядные хлопушки и бонбоньерки. Мы всегда старались повеселее встречать Новый год...

А здесь за окнами воет метель, пусто на улицах пораженной бедой Владимировки. И мы, засыпая от усталости, дежури́м у постели Лены Мельниковой, непрерывно меняя холодные повязки на ее пылающем лбу.

Ход болезни осложняется выкидышем. Лена потеряла ребенка, так и не увидев его, но сама она, кажется, спасена.

Тридцатого декабря температура снижается до тридцати восьми. Лена приходит в сознание. Она то плачет, то смеется.

Новый год мы встречаем у ее постели — заметно осунувшийся за эти дни Даниил Кириллович, Ипполит Александрович, то и дело протирающий свои очки и приглаживающий коротко остриженные волосы, и я.

Мы разлили по мензуркам разбавленный спирт.

— Да, у нас, на Украине, сейчас щедровки поют, по соседям колядовать ходят, — проговорил Заболотный. — Ну, ладно! Выпьем, дорогие друзья мои, за то, чтобы настал, наконец, такой год, когда не останется больше на земле болезней! Придет он, будет!

Мы чокнулись, выпили. И Лена Мельникова пригубила с нами, тоже из мензурки.

Так мы встретили новый, 1901 год...

ВЕЗДЕСУЩ И НЕУЛОВИМ



Прощаясь с Деминским, Даниил Кириллович крепко обнял его и сказал:

— С каким удовольствием бы забрал вас с собой, драгоценный мой Ипполит Александрович! Светлая у вас голова, и каждый бы позавидовал такому сотруднику. Но... — он взмахнул рукой, указывая на пустынную, завьюженную степь, на утонувшие до самых крыш в грязных сугробах хатенки Владимировки, — здесь вы нужнее. Судя по всему, в этих степях у чумы вогнище, и чрезвычайно важно держать его под постоянным контролем.

Деминский обещал Заболотному весной провести тщательные наблюдения за возможными заболеваниями среди сусликов и других степных грызунов. Кроме того, Даниил Кириллович настоял, чтобы с той же целью отправился в степь опытный бактериолог и знаток грызунов М. Г. Тартаковский. Он уехал, а мы с нетерпением ожидали вестей от него.

Вести пришли, но оказались совершенно неожиданными. Тартаковский объездил всю степь. Он поймал и вскрыл четыре тысячи сусликов, полевых мышей, тушканчиков: среди них не оказалось ни одного зараженного чумой! «Подполье и степное население по чуме благополучно», — категорически записал Тартаковский в официальном отчете.

Четыре тысячи — и ни одного больного! Вы понимаете, какой это был сокрушительный удар по гипотезе Заболотного?!

Зайдя как-то к нему в кабинет, я застал Даниила Кирилловича с книжкой в руках. Он был непривычно грустен и как-то пришиблен, совсем ссутулился. Я начал его расспрашивать, в чем дело. Вместо ответа он протянул мне книжку. Это был только что вышедший в Киеве сборник лекций профессора Высоковича о чуме с теплой дарственной надписью на обложке.

— Не понимаю, что вас огорчило, Даниил Кириллович.

Заболотный так же молча ткнул пальцем в строки, подчеркнутые синим карандашом:

«Что животные могут передавать заразу тем или иным путем и человеку, в этом нельзя сомневаться, но не всегда падеж среди крыс предшествует появлению заболевания среди людей, нередко падеж среди животных появлялся только в конце эпидемии; поэтому мнение, что чума существует в некоторых местах среди животных постоянно и от них передается людям, несправедливо».

— Он прав, и возразить нечего, — грустно проговорил Заболотный, глядя в окно.

С большой экспедицией прошел по заволжским степям Василий Исаевич Исаев. И вернулся еще более убежденным в справедливости своих взглядов.

— Чума в Заволжье, несомненно, эндемична. Ее туда не заносят время от времени паломники, как вы это предполагаете, уважаемый Даниил Кириллович. Она там гнездится постоянно. Но суслики тут ни при чем. Чуму, как я и доказывал, хранят сами люди, только в ослабленной, стертой форме. И лишь временами она приобретает характер открытых эпидемий.

А помощник Исаева по экспедиции доктор Страхович заявил еще решительнее:

— Заболевшего суслика никто в глаза не видел. Грызуны в

эпидемиологии астраханской чумы не играют никакой роли.

Болезнь оставалась неуловима, а в то же время то и дело напоминала о себе внезапными вспышками в самых различных уголках России.

Зимой 1902 года Ипполит Александрович Деминский сообщил о нескольких случаях заболевания на хуторах вокруг Черного Яра в астраханской степи. «Заболевания начались именно в степи, где люди работали на смежных бахчах», — подчеркивал он.

Даниил Кириллович уже собирался сам поехать туда, как вдруг чума объявилась в Одессе, и Заболотный помчался спасать веселый, шумный город своей студенческой юности.

Пробыл он там недолго. Борьбу с эпидемией возглавили опытные бактериологи Николай Федорович Гамалея и профессор Высокович. «Черная смерть» не успела разгуляться.

Завез чуму в Одессу, видимо, пароход «Мария Терезия». Один из матросов заболел еще в пути, умер накануне прибытия в Одессу и без необходимых предосторожностей, по недосмотру портовых властей, был похоронен на городском кладбище. А вскоре начался повальный мор среди крыс...

— Гамалея и Высокович повели совершенно правильную тактику, — рассказывал нам по возвращении Заболотный. — Они объявили беспощадную войну крысам. Больных людей изолировали, широко применяли предохранительные прививки. А специальные отряды в это время обследовали все водостоки, подвалы, подполья и уничтожали крыс. Только поэтому — я убежден! — и удалось так быстро прекратить эпидемию. Пробыл я в Одессе всего неделю и практически оказался ненужен.

— Вот так и нужно бороться с чумой: нападать на нее, уничтожать ее природных хранителей и переносчиков. И тогда мы вообще ее сотрем с земли! — добавил он, воинственно и молодо сверкая голубыми глазами.

Эпидемия в Одессе подтвердила, как необходимы строгие санитарные кордоны на всех морских и сухопутных дорогах чумы. Но загадка эндемичности отдельных районов оставалась по-прежнему темной и неразрешенной. Это очень мучало Заболотного, который как раз в эти годы работал над большой монографией о чуме.

— Понимаешь, руки опускаются, не знаю, что писать, — жаловался он мне. — С одной стороны, я все-таки уверен, что хранителями болезни в природе могут быть не только крысы, но и другие грызуны. Больше ей негде прятаться. Но не могу же я это повторять, словно попугай, не приводя никаких новых доказательств? Ведь четыре тысячи этих проклятых

ховраков, оказавшихся совсем неповинными, — аргумент, верно?

Наступил 1903 год, но загадка не прояснялась. В августе «черная смерть» унесла двенадцать крестьян в селе Быкове, неподалеку от Камышина. Опять, как и во Владимировке, эпидемия началась не в самом селе, а на дальних хуторах, затерянных в степи. Кто мог занести туда болезнь? Крестьяне все были православными, ни в какие паломничества не пускались.

А через несколько дней телеграф принес вести о явно чумных заболеваниях среди бурят Цаган-Олуевской станицы в далеком Забайкалье.

Как разобраться в причудливых скачках «черной смерти»? Нелегко было Заболотному работать над монографией, не найдя ответов на самые важные вопросы.

И все-таки он работал. Почти перестал приезжать к нам в «Чумной форт»: не хватало времени. Кроме кафедры в Женском медицинском институте, он продолжал вести исследовательскую работу и в Институте экспериментальной медицины. Студенты нуждались в учебниках, чтобы не повторялись трагикомические истории, когда весь курс готовился к экзаменам по одному неполному конспекту. И Даниил Кириллович перерабатывает свои лекции и создает на их основе первый учебник «Основы общей микробиологии».

Все это отнимало у него массу времени. А «черная смерть» неожиданно нанесла новый коварный удар там, где этого меньше всего ожидали. Она атаковала неприступные бастионы нашего «Чумного форта», у самых ворот столицы!

Полвека с лишним минуло с той поры, но все детали этой трагедии свежи в памяти.

Мы только что встретили новый, 1904 год. На праздники все разъехались, и в крепости остались только мы вдвоем с фельдшером Степаном Поплавским, не считая неизменного жандарма. К его постоянному присутствию мы давно уже привыкли и отлично знали, что жандарм торчит здесь вовсе не для охраны форта, а на предмет подслушивания «превратных толкований».

Мы слонялись с Поплавским по комнатам, поджидая возвращения товарищей, играли в шахматы, заглядывали от скуки в конюшню, где лошади тянулись к нам мягкими губами в щели денников и вкусно пахло свежим сеном. Погода, как нарочно, выдалась скверная. С неба сыпалась всякая дрянь: то мокрый снег, то мелкий, как пыль, дождь.

Волны глухо гревели день и ночь, разбиваясь о каменные башни форта. Промозглый ветер так противно скрипел проржавевшим флюгером

на крыше, что невольно хотелось забраться туда и швырнуть в море этого неуклюжего жестяного петуха с пышным геральдическим гребнем.

Из-за непогодицы 2 января начать работать не удалось, потому что все задержались в Петербурге, приезжали по одному, поймав попутный катер. Позже всех, уже в сумерках, приехал наш начальник, Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич. Он весь вымок, страшно продрог и, выпив крепкого чая с ромом, тотчас же лег спать.

Утром он встал, как обычно, за завтраком шутил, поторапливая нас поскорее оставить праздничное настроение и взяться за работу. Но за обедом все заметили, что ему явно нездоровится.

— Вы простыли, Владислав Иванович, ложитесь в постель, — начали уговаривать мы.

Против обыкновения Выжникевич, который всегда держался подтянуто, бодро, на этот раз быстро согласился:

— Да, пойду лягу. Все этот проклятый ветер. Пока доберешься от Петербурга до форта, тебя, кажется, до последней косточки продует.

Вечером я сам, несмотря на возражения Выжникевича, смерил у него температуру. Она поднялась до 38,5 градуса; пульс — 100. Его бил озноб.

Обычная простуда?

Но все мы не раз сталкивались с чумой, знали, как ловко она может порой маскироваться, и годы работы со смертоносными бактериями приучили нас к осторожности. Поэтому было решено установить у постели Владислава Ивановича круглосуточное дежурство.

За ночь его состояние резко ухудшилось. Температура подскочила почти до сорока одного градуса, а частота пульса, наоборот, снизилась. Он то бредил наяву, не узнавая нас, то терял сознание. Мы все собрались в библиотеке, посоветовались и решили немедленно, телеграммой, вызвать из Петербурга Заболотного.

Даниил Кириллович приехал в тот же вечер и сразу прошел к Выжникевичу. Осматривал он его долго, а мы томились в ожидании, бродя по коридору и перебрасываясь ничего не значащими фразами.

Когда Заболотный вышел в коридор, вытирая руки, мы окружили его. Он молчал, сутулясь и опустив всклокоченную голову. Все было ясно без слов.

— Перед Новым годом он проводил опыт по заражению сусликов распыленными культурами и, как выяснилось, пробовал приготовить чумной токсин, растирая микробы, замороженные жидким воздухом, — медленно проговорил Заболотный, все продолжая машинально вытирать давно уже сухие руки. — Вот так... И того и другого вполне достаточно.

И он пошел по коридору в лабораторию, куда фельдшер Поплавский уже унес пробы для анализов.

Даниил Кириллович нанес на предметное стекло тонкий мазок, подкрасил его фуксином, вставил стекло в микроскоп. Он смотрел в окуляр всего одну секунду, потом отодвинул микроскоп...

Два дня и две ночи боролись мы за жизнь нашего товарища. Даниил Кириллович сам, не доверяя никому, сделал ему прививку, введя сразу сто кубических сантиметров свежей вакцины. Потом влили в его слабеющее тело еще двести кубиков сыворотки — половину прямо в плевральную полость, окружающую легкие, остальное — под кожу.

Выжникевич пришел в себя, даже слабым голосом начал отдавать распоряжения о введении строгого карантина. Заболотный мягко остановил его:

— Вы теперь только пациент, Владислав Иванович. Распоряжаюсь здесь я. Руководство всеми мероприятиями на время вашей болезни поручено мне. А все, что требуется от вас, — это поправляться.

Весть о появлении «черной смерти» под стенами Петербурга переполошила «высшие власти». Принц Ольденбургский, словно не доверяя Заболотному, прислал в крепость еще чрезвычайного коменданта, князя Орбелиани в пышном генеральском мундире и с громадными подусниками. Сначала генерал было попробовал и впрямь командовать нами, но Даниил Кириллович решительно осадил его, припугнув, что чума, возможно, уже распространилась по всем помещениям форта и разгуливать по коридорам и лабораториям небезопасно. После этого сиятельный комендант заперся со своими адъютантами в самой дальней комнате и коротал время за картами и коньяком.

По распоряжению Заболотного по всему форту объявили строжайший карантин. Никто не мог ни покинуть форт, ни войти в него. Крепостные ворота открывались теперь только один раз в день, чтобы принять продукты. Этим занимался «чистый врач», не имевший права общаться больше ни с кем из сотрудников.

Мы были полностью отрезаны от всего мира. Даже наши письма проходили дезинфекцию вместе с ящиком, в который их складывали. А к телефону допускался только «чистый врач».

Всюду страшно воняло карболкой, дверные ручки, перила на лестницах и даже электрические выключатели служители обмывали горячим раствором лизола.

Выжникевича перенесли на второй этаж, в чумной лазарет. В соседней комнате поставили койку для Заболотного.

После некоторого улучшения Владислав Иванович опять почувствовал себя хуже. Ему ввели еще сыворотки, на этот раз сразу триста кубиков. — из партии, которую он сам считал наиболее надежной.

Но ничто не помогало. Температура не снижалась, опять он все чаще впадал в забытие, его мучала одышка, кровь пошла горлом. Болезнь проникла в его тело самым кратчайшим путем — через легкие, и теперь у нас уже не было никаких средств выгнать ее оттуда.

Шумело море за окнами. Дождь, словно слезы, которые никак не унять, катился по стеклам. Ветер заунывно скрипел флюгером на крыше. Казалось, весь воздух вокруг форта был пропитан тревогой.

Помогая Заболотному, я начал беспокоиться и за его здоровье. Он валился с ног от усталости. Но только приляжет на полчаса, как хриплые стоны больного снова поднимают его с койки.

Это страшно, когда на твоих руках умирает товарищ, с которым много лет вместе проводил опыты, шутил, спорил вечерами за чаем в уютном свете лампы. Умирает талантливый исследователь, твой ученик, которому ты прочил большое будущее, — и ты бессилён помочь ему.

Очнувшись на короткое время поздно вечером 6 января, Выжникевич с трудом проговорил:

— Уведите Даниила Кирилловича... Он же может заразиться. Моя песенка спета, а вам работать дальше... Мне уже не помочь, я же знаю, что такое чума. А вы берегитесь, уйдите...

И потом, после такой долгой паузы, что я испугался, он едва слышно добавил:

— После вскрытия... сожгите меня здесь, в форту.

Без пятнадцати шесть вечера 7 января 1904 года заведующий лабораторией «Чумного форта» Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич умер.

Даниил Кириллович сам провел вскрытие, и все сотрудники форта подписали скорбный протокол. В ту же ночь тело Выжникевича сожгли в крематории форта, и свежий ветер развеял дым над дождливым, бушующим морем...

«ПОЛЕЗНОЕ ЖИТИЕ»



Перебирая теперь в памяти годы, последовавшие за трагической гибелью Выжникевича, я, признаться, теряюсь, как о них рассказать. На первый взгляд жизнь Даниила Кирилловича в эти годы была не особенно богата драматическими событиями, не совершал он и далеких путешествий. Будничная, повседневная работа — что о ней говорить?

А рассказать непременно надо, потому что и в эти годы житие Даниила Заболотного не прекращалось. Дни его, как и прежде, были полны научных исканий и самоотверженной борьбы за здоровье людей.

Порой, когда читаешь биографию какого-нибудь выдающегося ученого, создается впечатление, будто в его жизни существовали какие-то пробелы, передышки между открытиями и подвигами. Годы взлета чередуются с годами незаметными, скромными, о которых вроде и рассказывать нечего.

В жизни Даниила Кирилловича Заболотного таких передышек не

было.

Как и прежде, он читал лекции и принимал экзамены в Женском медицинском институте. Во время каникул почти каждый год привозил своих студенток в «Чумной форт», считая его лаборатории лучшим местом для практики будущих бактериологов.

Время было тревожное, грозное. Шла русско-японская война. Назревала революция. Январские события 1905 года всколыхнули народ. Среди студентов начались волнения. Все высшие учебные заведения России были закрыты на полгода.

В эти дни мне почти не удавалось вырваться в Петербург: слишком много неотложной работы было у нас в «Чумном форту». Только позднее я узнал от студенток, что в трагические дни после 9 января Даниил Кириллович превратил свою небольшую квартиру на тихой набережной Карповки в настоящий подпольный госпиталь. Там оказывали первую помощь раненым рабочим, по вполне понятным причинам не желавшим обращаться в обычные больницы. Студентки-медички готовили здесь перевязочный материал и в случае нужды сами отправлялись делать перевязки прямо на квартиры рабочих.

За такую «противоправительственную деятельность» потом некоторых студенток исключили и выслали из Петербурга. Всем им Даниил Кириллович по-отечески помогал устроиться в различные земские больницы, давал денег на дорогу, снабжал рекомендательными письмами. Он и потом не прекращал следить за судьбой своих учениц, вынужденных покинуть институт. Высланной из столицы студентке Дембской Заболотный помог организовать хотя и небольшую, но хорошо оборудованную лабораторию в знаменитой гоголевской Диканьке, снабдил ее необходимыми материалами, присылал в письмах подробные и обстоятельные советы, о которых В. Е. Дембская вспоминает до сих пор с большой теплотой.

Самого Заболотного власти тронуть не решились. Слишком велик к тому времени уже стал его авторитет, слишком нужен он был для защиты России от постоянно возникавших то там, то тут эпидемий чумы, холеры и других опаснейших болезней.

Чтобы побольше подготовить опытных борцов с этими болезнями, Даниил Кириллович, поневоле освободившийся на полгода от лекций в институте, устроил специальные курсы. На них он читал лекции перед врачами из самых глухих уголков России. Он учил их вести лабораторные работы, делать анализы, прививки.

Круг научных интересов Заболотного все расширялся. В эти годы он

провел очень важные и интересные исследования по борьбе с другой тяжелой социальной болезнью — сифилисом.

«В России распространение сифилиса достигает колоссальных размеров, — писал Даниил Кириллович в одной из статей, объясняя, почему он занялся изучением этой страшной болезни, обрекавшей сотни тысяч людей на тяжкие страдания. — По давности своего появления в Европе (более 400 лет), по распространению и по последствиям сифилис должен быть отнесен к категории таких же социальных зол, как туберкулез, малярия, чума, холера, с той только разницей, что сифилис оставляет большие следы в последующих поколениях».

Несомненно, привлекло его и то, что в природе этой болезни было немало загадок, темных мест. Не был тогда еще, несмотря на усилия многих исследователей в разных странах, обнаружен даже возбудитель сифилиса. Борьба с болезнью велась наугад, вслепую.

Доказал, что возбудителем сифилиса является похожая на витой штопор спирохета, в 1905 году немецкий исследователь Шаудин. Но Даниил Кириллович увидел в свой микроскоп это «бледное чудовище» по крайней мере за два года до него. Однако научная осторожность, присущая Заболотному, помешала ему тогда же объявить о своем открытии.

«Найденные и описанные различными авторами возбудители сифилиса оказались микроорганизмами, никакого отношения к заболеванию сифилисом не имеющими, — писал Даниил Кириллович. — История этих попыток указала на трудности, с какими сопряжены подобного рода попытки, которые должны быть исключены при научной разработке вопроса...»

Он засомневался и решил проверить свое открытие новыми дополнительными опытами, и тут его опередил Шаудин.

По своей скромности Заболотный, и позже никогда не поднимал вопроса о приоритете в открытии возбудителя сифилиса.

— Кто открыл да на сколько дней раньше — разве в том дело?! — отмахивался он, когда с ним заговаривали об этом. — Важно, что открыли, нашли ключ для борьбы с болезнью. В науке славу не делят, а только приумножают общими усилиями. Так-то!..

Работы Заболотного по изучению сифилиса были настолько значительны и интересны, что ему поручили от имени всей русской медицинской науки выступить с докладами на Международном конгрессе в Берне, в Швейцарии, в 1906 году, а на следующий год на Международном гигиеническом конгрессе в Берлине.

Основным докладчиком по вопросу борьбы с сифилисом был Даниил

Кириллович и на очень бурно прошедшем Десятом Пироговском съезде. Он состоялся в Москве в конце апреля 1907 года. Друг Заболотного профессор Л. А. Тарасевич произнес на одном из заседаний съезда замечательную речь «О голоде», встреченную диким воем всех реакционных газет.

Зло велико и грозит России гибелью, — смело заявил с трибуны съезда Тарасевич. — Необходимо устранить причины. Правительство не может накормить народ, но оно может устранить препятствия для народа кормиться самому... «К чему говорить это? — скажут нам. — Правительство не услышит»... Но мы должны внести свою лепту в великое дело спасения народа...

Боевым, проникнутым страстным протестом против социальных неурядиц в России, способствующих распространению таких болезней, как чума, холера, тиф, сифилис, был и доклад Даниила Кирилловича. Под овацию всего зала он закончил его такими словами, намекая на печальную участь И. Мечникова, В. Хавкина и других ученых, вынужденных покинуть Россию:

— Будем надеяться и содействовать тому, чтобы вопросы эпидемиологии и бактериологии находили себе разработку в наших лабораториях и чтобы нашим ученым не приходилось в силу внешних условий искать себе прибежища за границей...

Он на миг остановился, подыскивая подходящие слова, и вдруг громко начал читать стихи, подчеркивая каждую строку энергичным взмахом руки:

*И рухнет старое!
Иное будет время,
И на развалинах
Иная будет жизнь!..*

Невозможно передать, что творилось в зале!.. Заболотного чуть не на руках унесли с трибуны, хотя тут собрались вовсе не восторженные студенты, а почтенные профессора и земские врачи.

Итоги своим исследованиям Даниил Кириллович подвел в обстоятельной монографии «К вопросу о патогенезе сифилиса», которую блистательно защитил в качестве диссертации весной 1908 года и получил почетное ученое звание доктора медицины.

Но, конечно, и в эти «тихие годы» не прерывал Даниил Кириллович своих работ по чуме. Он продолжал трудиться над монографией, посвященной борьбе с чумными эпидемиями. Время он выкраивал, уезжая

почти каждое лето хотя бы на две-три недели в родное село Чеботарку, называя его в шутку «своим поместьем».

Многие не понимали шутки. Они искренне считали, что профессор, пользующийся мировой известностью, в самом деле должен быть настоящим помещиком, и всерьез начинали расспрашивать Даниила Кирилловича о «его имении».

— Скажите, а оно у вас большое, профессор?

— Да порядочное, — пряча усмешку в усах, отвечал Заболотный. — Точно не мерял, но что-то около двух миллионов шестисот сорока трех тысяч трехсот двадцати двух...

— Десятин?!

— Нет, что вы! Квадратных сантиметров... «Приезжайте же в мое поместье», — несколько раз приглашал он меня.

И вот, помнится, как-то летом не то 1907, не то 1908 года я выкроил время и по дороге на юг на несколько дней заехал в гости к Заболотному.

Вот и Чеботарка — довольно большое село, с попрятавшимися в густой зелени садов белыми хатками и с непременным ставком, над тихой водой которого склонились старые вербы. На берегу ставка за низеньким плетеным тыном торчит потемневшая от непогод соломенная крыша странной формы, — потом Даниил Кириллович мне объяснил, что «такие крыши в старину клали».

После крепких объятий и расспросов о новостях Даниил Кириллович ведет меня прежде всего по своему «имению». С гордостью показывает старый сад. Вишни и яблони в нем так разрослись, что сквозь густую листву даже не просвечивают чисто побеленные стены хатки.

— Это мати садила, — говорит Даниил Кириллович, любовно поглаживая по корявому стволу ясеня. — А эту сосенку я сам из лесу на собственном горбу притащил, и, смотри-ка, отлично прижилась.

И, конечно, повсюду цветы, цветы — и на клумбах и просто так — выглядывают из высокой травы.

— А этого красавца помнишь? — лукаво прищурился он, подводя меня к какому-то довольно сильно разросшемуся, но еще молодому деревцу.

Я недоуменно посмотрел на него.

— Да это ж монгольский вяз! — закричал на весь сад Заболотный. — Помнишь, ты ворчал, зачем я с собой такой жалкий корешочек беру, сухой да скорченный? Причитал все: «Выбрось, не приживется». А он и прижился и растет у меня в садочке не хуже, чем у себя в Гоби, — и он любовно похлопал дерево по темной коре, совсем как старого товарища по

плечу.

Внутри хатка тоже ничем не отличается от обычного крестьянского жилья. Только полы деревянные, а не земляные. Да на столике у окошка стоит микроскоп, а возле печки висит на стене большая таблица с нарисованными от руки красочными изображениями разных микроорганизмов.

— Это я хлопцев натаскиваю, — поясняет Заболотный и смеется. — Открыл Чеботарьску академию. А что ты думаешь: очень понятливые хлопчики попадаются.

Вечером мы ужинаем в саду при свете керосиновой лампы. И еда простая, крестьянская: розовое сало с желтыми крупинками соли, пузатые помидоры, пупырчатые огурцы прямо с грядки, душистый лук.

Даниила Кирилловича, видно, одолевают воспоминания, и он рассказывает мне о своем детстве, о матери, о своем дяде — Макаре Сауляке, ее брате.

— Святой был человек Макар Миронович. Всю жизнь посвятил тому, чтобы другим помочь, дать хорошее образование, в люди вывести. Отец у меня крипаком был, крепостным камердинером. После освобождения на волю получил надел в три четверти десятины и хатенку ветхую, — она тут неподалеку стояла, две комнатухи да сени под стрехой соломенной. Жилось нелегко, и все-таки отец с матерью мечтали отправить меня в город учиться. Да умер отец рано, мне только десятый год шел. Где уж тут об учебе думать? Работал в поле вместе с матерью и младшим братишкой Иванком. И не видать бы мне, верно, всю жизнь ничего, кроме пашни да огорода, если бы не Макар Миронович. Он на медные гроши сам сумел кончить университет, преподавал географию и естествознание в Ростове, в прогимназии. Взял он меня к себе и растил, учил, воспитывал не хуже отца родного. Он мне и любовь к естественным наукам привил. Приеду в село на каникулы, все с гербариями вожусь, коллекции насекомых собираю, живность всякую в ставке ловлю...

Даниил Кириллович тепло и немного смущенно усмехается этим давним детским воспоминаниям. Я не перебиваю его, притих, жадно ловлю каждое слово. Давно мне хотелось узнать побольше о его юности, о том, как пришел он в науку.

— А то дни напролет книжки читаю — тоже он меня приохотил, дядя Макар. Мать даже жаловалась ему в письмах: «Хто його хлопца знае, про що вин думае, разглядаючи у цих книжках всियाки козявки. Дитина ще, а навить гуляти не вийде...» А Макар Миронович как-то мне и говорит: «Растешь ты быстро, Данилка, надо тебе в Одессу перебираться. Там

учителя получше будут, университет есть». И отправил меня в Одессу, в знаменитую Ришельевскую гимназию. Была она одна из особо строгих классических, но мы почитывали, несмотря на запреты, и Писарева и книги по естествознанию. «Всиляки козявки» уже крепко, заинтересовали меня, так что после гимназии, не раздумывая, пошел в университет на естественное отделение.

Тишина кругом царит такая, что звенит в ушах. Давно спит все село. Даниил Кириллович рассеянно отгоняет бабочку, бьющуюся в стекло лампы, и задумчиво продолжает:

— Годы в Новороссийском университете были самыми светлыми во всей юности. Он ведь тогда свой золотой век доживал. На учителей мне и тут повезло. Александр Онуфриевич Ковалевский о дарвиновском учении подлинные поэмы слагал, заслушивались. Физику читал Умов, ботанику — Ришави, зоологию — Каменский. На лекциях по истории и политической экономии профессора Посникова в аудиториях стены трещали, столько народа набивалось. Кружки, землячества, даже нелегальные студенческие организации — кипела жизнь, зажигала умы. Правда, недолго. Зажимали свободомыслие, с каждым годом все туже закручивали гайки. Сеченова выжили из университета, и Мечникова я уже среди преподавателей не застал. Он ушел на созданную им Бактериологическую станцию, первую в России. Она тогда помещалась у Соборной площади, в нижнем этаже старого, облупленного дома. И, бывало, как поздно ни идешь мимо, всегда за окном громадная лохматая голова Ильи Ильича над микроскопом склоняется. Все мы тогда увлекались его работами по иммунитету, фагоцитозу, тянуло нас к этому замечательному человеку как магнитом. Частенько я убегал, грешник, с лекций, чтобы только послушать Мечникова. Как сейчас, ясно помню тесные комнатки, лица Тезякова, Шора, Караманенко и среди них яростно размахивающего руками Илью Ильича. Тут бился пульс настоящей исследовательской научной мысли, — понял я и решил после университета непременно работать на Бактериологической станции. Так и вышло, только не сразу. Подшутила надо мной судьба: пришлось сначала в тюрьме побывать...

— За что?

— Да все за то же, за свободомыслие. Оно мне, видно, тоже от дядюшки по наследству передалось. Он в университете с Желябовым дружил, с малых лет мне вечерами Чернышевского да Писарева вслух читал. Особенно часто, как завет, повторял слова Чернышевского, запомнились они мне на всю жизнь: «Служить не чистой науке, а только отечеству». Вот и я всегда общественными интересами увлекался. На всех

вечерах землячества бывал. Весело проводили их, дружно: пели, мечтали о союзе всех народов. За это большинство отсидело по тюрьмам и проездилось за Урал. Я в просветительных кружках — были у нас такие — с рабочими железнодорожного депо занимался, ни одной студенческой сходки не пропускал. Это власти, как выяснилось, уже давно заметили. И весной 1889, когда до окончания курса оставалось всего несколько недель, арестовали меня во время студенческой сходки — и в тюрьму. Просидел три месяца, ревматический полиартрит нажил. Только он меня от ссылки и спас. Был бы здоров, не миновать Сибири, куда многие мои товарищи отправились. Вот так я и закончил вместо Новороссийского университета одесскую тюрьму.

— Но все-таки на станции у Мечникова удалось поработать?

— Это не сразу, сначала я репетитором с частными уроками помыкался. Ведь у меня уже семья была, только что тогда на Милочке женился. Забот прибавилось, бегаю по урокам, а самого все тянет на станцию. Нарочно крюк делал, чтобы только в окно заглянуть и снова Мечникова за микроскопом увидеть. Спасибо Милочке, поддержала она меня: настояла, чтобы, как ни трудно живется, продолжал заниматься наукой. Пришел я на Бактериологическую станцию. Мечникова, правда, уже не застал, надоели ему реакционные притеснения и вечные стычки с начальством, уехал он навсегда из России. Приютили меня его ученики — Николай Федорович Гамалея и Яков Юлиевич Бардах, — да вы их обоих прекрасно знаете. Яков Юлиевич мне, помнится, и тему первой научной работы подсказал: «О микробах снега». За нее мне выдали все-таки университетский диплом и даже кандидата присвоили. Любопытная была работа, только затерялась где-то, никак не могу найти. Многому я у Бардах научился, отличнейший человек! Первый он у нас в России по пастеровскому методу прививки от бешенства начал делать и, чтобы неверящих убедить, сначала их на самом себе испытал. Первый, в сущности, курс микробиологии основал. А какие превосходные исследования по дифтерии он вел на станции! Да и с ним недолго, к сожалению, пришлось поработать: уволили Якова Юлиевича за «еврейское происхождение». Так что следующую работу я уже проводил под руководством Александра Онуфриевича Ковалевского. Он и в университете преподавал и у нас на станции большие исследования вел, всех прямо-таки заражал энергией. Мне он поручил изучать причины свечения одесских лиманов, — так я ею увлекся, что даже, когда из Одессы уехал в Киев, все продолжал опыты проводить. Шутка — сказать: «свою», новую, никому еще не известную инфузорию открыл из рода *Glenodinium* семейства

Peridinidae, как тут не увлечься! — смеется Заболотный.

— Так почему же вы в Киев переехали, медиком стали? — недоумеваю я. — Вроде ведь так уже у вас судьба сложилась, Даниил Кириллович, что заниматься вам весь век чистой микробиологией или зоологией по примеру Ковалевского... Заболотный на минуту задумывается.

— Да не совсем так, понимаете ли... Дух, что ли, у нас такой царил на Бактериологической, что «чистой», так сказать, академической наукой там увлечься было просто невозможно. Занимались все практическими делами: прививки против бешенства, борьба с сибирской язвой и малярией, травили сусликов, повреждавших поля. Гамалея и Бардах читали курсы для врачей, давали консультации. И мне поручили задачу практическую и уже связанную непосредственно с медициной: изучать одесские поля орошения в связи с холерной угрозой. Попутно пришлось прививками заниматься — вот и стал медиком...

— Так что, выходит, дорога у вас прямая: «Служить не чистой науке, а только отечеству»?

— Выходит так, если разобраться, — с довольным видом кивает Даниил Кириллович. — Переехал я в Киев, приняли меня сразу на третий курс медицинского, тут опять пошли учителя замечательные: по общей патологии — Подвысоцкий, патологическая анатомия — Минх, по ботанике — Навашин. Да что я вам их нахваляю? Ведь это же уже наши общие с вами учителя...

Даниил Кириллович замолкает, с некоторым удивлением прислушиваясь к вдруг раздавшейся сразу со всех сторон задорной переключке петухов — то ближних, то совсем дальних, едва слышных, то снова горлающих где-то прямо за соседним плетнем.

— Ого, как мы засиделись — до первых кочетов! Пора спать, спать, ведь ты же с дороги. А завтра нам работать, не забыл?

Дни наши в Чеботарке похожи один на другой, словно два колоса с одной нивы, но летят как-то удивительно быстро и незаметно. С утра мы работаем: я в комнате, по петербургской привычке, а Даниил Кириллович — в своем любимом уголке, под старым развесистым ореховым деревом в самой глубине сада. После обеда обычно гуляем по окрестным полям, с нами нередко увязывается шумная толпа «будущих академиков». Каждого из этих загорелых босоногих хлопчиков Заболотный знает по имени, в курсе всех их семейных дел и разговаривает с ребятней серьезно, просто и уважительно, как со взрослыми. А вечерами ведет долгие и обстоятельные беседы со стариками, сидя возле хаты на суковатом бревне. И разговоры идут самые разнообразные: о видах на урожай, о болезнях, о политике, о

чужих странах, где довелось побывать Даниилу Кирилловичу. Вряд ли бы узнал его в такие часы кто-нибудь из коллег, с которыми встречался он на конгрессах в Лондоне, в Париже, в Риме.

Хорошо работалось в Чеботарке. В то лето Заболотный закончил свою большую монографию о чуме. Он как бы подвел итоги всему, что успела выяснить к тому времени наука об этой страшной болезни.

Но главное так и оставалось неясным. Одна за другой отправлялись научные экспедиции в монгольские степи, но без результата.

Заведующий бактериологической лабораторией Китайско-Восточной железной дороги Николай Николаевич Клодницкий, поддерживавший гипотезу Заболотного, осенью 1905 года специально объехал глухие, отдаленные районы Монголии, по берегам озер Угу-Нор. Местные жители рассказывали, будто недавно здесь смертельная болезнь перекинулась с тарбаганов на людей. Но уже настали холода, тарбаганы попрятались в свои норы, и ни одного заболевшего зверька добыть не удалось.

В 1906 году очередная вспышка чумы в Забайкалье началась заболеванием казака Перебоева, накануне поевшего мяса тарбагана, которого принесла ему во двор собака из степи.

На следующий год в железнодорожную больницу на станции Маньчжурия привезли заболевшую девочку. У нее оказалась бубонная чума, и заразилась она, по словам родственников, снимая шкурку с больного тарбагана. Заинтересовавшись этим случаем, доктор Барыкин обследовал все окрестности и обнаружил «больную сопку», как прозвали ее местные жители. На ней будто бы часто возникал повальный мор среди тарбаганов. Барыкин вскрыл несколько десятков зверьков, принесенных ему охотниками с этой сопки, но ни в одном не нашел чумных бактерий.

Каждый год повторялись и вспышки чумы в Поволжье: 1904 год — в Гурьевском уезде, 1905 — в Бекетае, 1906 — в аилах среди барханных песков Узач-бая, в 1907 году — в Архиерейской слободе возле самой Астрахани.

И никаких доказательств, что виновниками этих эпидемий были суслики, как предполагал Заболотный!

— Конечно, где же тут замечать мор сусликов, когда мор людей остается без внимания, — ворчал Даниил Кириллович.

Утешало только, что «нашего полку чумагонов», как любил говорить Заболотный, в этом тревожном и загадочном районе постепенно прибывало. В Астрахань переехал из Маньчжурии и возглавил здешнюю бактериологическую станцию Николай Николаевич Клодницкий. Избавившись от других административных забот, перешел работать к нему

на станцию и Деминский.

— Ну, вдвоем они всю степь перевернут! — радовался Заболотный.

Летом 1907 года он сам отправился на очередную эпидемию в Астрахань, подробно ознакомился там с материалами, собранными по каждому случаю Деминским и Клодницким. В селении Сартюбей был найден даже зараженный чумой верблюд, но ни одного больного суслика.

Как мучала эта загадка «черной смерти» Заболотного, как нелегко ему было в те годы! Я понимал, какая ответственность тревожит его. Ведь от того, какими путями проникает чума и где она хранится в перерывах между эпидемиями, зависела вся организация борьбы с «черной смертью». Или главное внимание следует уделить людям, устраивая карантин в портах и на перекрестках путей паломников, но не обращая особого внимания на грызунов, шмыгающих через все кордоны, и ограничиться только уничтожением портовых крыс, или надо выходить в степь, держать под постоянным контролем всех ее обитателей: сусликов, тарбаганов, тушканчиков.

От решения этой проблемы зависело, какую же тактику избрать в борьбе с чумой: активную, наступательную или пассивную, оборонительную, — и тогда ученым оставалось только, словно пожарникам, спешить на вспыхивающие то здесь, то там эпидемии, но и не мечтать когда-нибудь избавиться от них окончательно.

Этот вопрос надо было решать незамедлительно. Ведь он был не просто научной проблемой, от него зависели жизни многих людей.

«Чума в Астраханской губернии настойчиво требует к себе внимания, — напоминал в письмах Деминский. — Тонкая грань отделяет бубонную чуму от легочной, тонкая грань отделяет всю Россию от ужасов «черной смерти», выглядывающей из Астраханской губернии...»

Следовало принимать какое-то решение. А какое?..

В своей монографии Даниил Кириллович все-таки Целую главу посвятил роли грызунов в распространении чумы. Там он привел все известные ему случаи вспышек тарбаганьей болезни и вновь напоминал:

«Весьма возможно, что эпидемии среди тарбаганов представляют часто встречающуюся у грызунов хроническую форму чумных заболеваний, которые, переходя на людей, способны обуславливать при благоприятных условиях жестокие вспышки чумы».

Но по вопросу об эндемичности чумы в Поволжье Заболотный отказался от своей собственной гипотезы:

«Проследить пути и случаи заноса через Астраханскую губернию чрезвычайно трудно. Здесь мы имеем плохо контролируемое движение

паломников через Персию в Месопотамию и Мекку, движение ла-маитов в Монголию, наплыв рабочих и торговцев из Персии. Местные условия до настоящего времени плохо изучены с санитарно-бытовой точки зрения. Являются поэтому два предположения о многократных вспышках чумы в Киргизских степях:^[4] одно, что чума занесена одним из указанных путей (Заболотный), и другое, что она эндемична в данной заброшенной местности и дает о себе знать только более грозными вспышками (Исаев, Берестнев)».

Да, это было отступление. Но отступление вынужденное — за недостатком фактов. И Заболотный проявил мужество настоящего исследователя, решившись отказаться от собственной гипотезы, коль факты ей противоречат.

Ему пришлось нелегко.

«Нам положительно думается, что в данном случае мы встречаемся с одним из парадоксов в истории медицины, — обрушился на Заболотного доктор Страхович, обследовавший астраханские степи вместе с Исаевым. — Мы легко создаем эндемические очаги вдали от нас и ждем оттуда опасности и в то же время с упорством, не отвечающим научной объективности, отрицаем возможность того же у нас самих.

Так, например, на основании наблюдений профессора Заболотного, обнаружившего в 1898 году бактериологически чуму в Восточной Монголии, мы легко признали этот очаг. И тем не менее в следующем, 1899 году, когда чума появилась в русском селе Колобовка, мы делаем предположение о заносе к нам этой чумы из Восточной Монголии, находящейся на расстоянии почти 6 тысяч верст сухим путем, калмыками, живущими по другую сторону Волги, потому что калмыки иногда ходят на поклонение к буддийским святыням в Монголию (Заболотный, Левин)». Выступил против Даниила Кирилловича — в защиту его собственной, но пока не подтвержденной гипотезы — и Клодницкий.

«Киргизы не принадлежат к числу особенно фанатичных поклонников корана, — настаивал он, — и немногие между ними могут вынести значительные путевые расходы по поездке... Однако мысль работающих по чуме врачей и административных лиц часто и настойчиво, хотя и бесплодно, ищет источник в паломниках из Аравии...»

Но отступление было временным: Заболотный готовил новые экспедиции в пустынные бескрайные степи, привольно раскинувшиеся за Волгой.

Помешала новая беда. В России начались эпидемии холеры, и Даниилу Кирилловичу пришлось на время отвлечься от загадок чумы, чтобы

выступить на защиту людей от другого опасного врага, с которым он начал воевать еще в студенческие годы.

Помните тот смелый опыт, когда Заболотный и Савченко выпили смертельную разводку холерных вибрионов, чтобы проверить на самих себе и доказать всем надежность прививок против холеры?

С тех пор В. Хавкин, Н. Гамалея и другие ученые создали отличные образцы вакцин. Проверенное, испытанное оружие было в руках врачей; и Мечников даже утверждал, что уберечься от холеры легче, чем от насморка. Но у холеры, как и у чумы, есть помощники: грязь, нищета, голод... И она захватывает один город за другим: Самара, Астрахань, Баку, Саратов, Царицын, Киев.

Прививки ослабленными и убитыми вибрионами могут надежно защитить от заражения — это доказали своим опытом Заболотный и Савченко. Но если человек уже заболел, помочь ему трудно. Больной сохнет, худеет на глазах; он теряет голос, углы рта у него печально и в то же время с выражением какой-то горькой насмешки опускаются вниз. *Fades sardonica* — «сардоническое лицо» прозвали эту страшную маску еще древние. И, увидев ее, врач готовится поставить зловещий крест в последней графе истории болезни.

Как и в борьбе с чумой, главное — предупредить возникновение эпидемии. С холерой это проще: она передается только от человека к человеку, животные ею не заболевают.

Этим, между прочим, объясняется удивительный «парадокс холеры», доставивший немало хлопот исследователям. До XIX века эта болезнь была почти неизвестна в Европе, хотя в Индии губила миллионы людей. Ее так и прозвали — «азиатская холера». Но вот улучшились пути сообщения, люди начали больше и быстрее ездить по всему свету — и холера двинулась поражать одну страну за другой.

Но зато холерные вибрионы гораздо более живучи, чем чумные палочки. Они могут даже перезимовать в замерзших прудах и реках, прямо во льду, и не потерять своей губительной силы.

Заболотный ездит из города в город, читает лекции, учит врачей технике прививок вакцины, которую день и ночь готовят его ученики в лабораторных казематах «Чумного форта». Сегодня он в Баку, на нефтяных промыслах уговаривает рабочих сделать прививки. Усталые, перепачканные в мазуте люди слушают его мрачно и недоверчиво. Заболотный говорит с ними задушевно и просто. Рассказывает о болезни, о своих путешествиях, а потом сам первый делает себе укол. И вот уже вереницей тянутся к столу рабочие, женщины несут детей на руках. Только

поздно вечером складывает он инструменты и, не чуя ног от усталости, бредет в гостиницу.

— Ужас!.. Когда все это только кончится! — сочувственно вздыхает провожающий его чиновник в белом кителе.

— Когда будут уничтожены эти ужасающие условия жизни, голод и нищета, — угрюмо и резко отвечает Заболотный.

Так он и записывает в своем отчете, отправленном в Петербург. А через несколько дней из газетной заметки узнаешь, что Даниил Кириллович уже начинает бой в другом городе:

«Командированный распоряжением Противочумной комиссии в Ростов-на-Дону профессор Д. К. Заболотный обнаружил при осмотре местного водопровода следующий вопиющий факт, вполне объясняющий взрыв типичной водяной холерной эпидемии, давшей уже свыше 800 смертных случаев: все нечистоты из города спускаются в реку, из которой берется питьевая вода, плохо потом фильтруемая на водопроводной станции...»

Возникает эпидемия в Астрахани — и Заболотный спешит туда с экспедицией, которая делает предохранительные прививки четверем с половиной тысячам человек.

В августе 1908 года холера проникает в Петербург. Три станции ежедневно перекачивают в трубы городского водопровода двадцать два миллиона ведер невской воды, и только часть ее проходит через фильтры. Скученность населения, особенно на рабочих окраинах. Грязь в трактирах, на базарах, в бесчисленных купеческих лавчонках — холере есть где разгуляться в огромном столичном городе.

Оборону города возглавляют лучшие бактериологи: В. И. Исаев, прославившийся открытием простого и надежного способа отличать холерные вибрионы от всех других, очень на них похожих, — это выдающееся научное открытие так и вошло навсегда в науку под названием «феномена Исаева»; приехавший из Киева В. К. Высокович и Заболотный.

Даниил Кириллович устроил четыре лаборатории в разных концах города. В них его ученики готовили и испытывали новые образцы противохолерной вакцины. Шесть образцов, оказавшихся самыми лучшими, приготовил Заболотный собственными золотыми руками.

Он сам ухаживал за больными. И я слышал, как уговаривал он одного старика рабочего, который упорно отказывался пить кипяченую воду.

— Зачем ты даешь мне мертвую воду! Ты дай мне живой воды.

— Ты седой уже, а дурной, — с добродушной насмешкой говорил ему Даниил Кириллович. — От той «живой воды», что ты просишь, и умирают

люди. А я вот сейчас впрысну тебе, диду, настоящей живой воды, без обману, так ты у меня быстро на ноги встанешь да еще гопака станцуешь...

Вспоминается солнечный, такой непривычный для Петербурга осенний день того давнего 1908 года, когда мы с Заболотным почему-то оказались на холерном кладбище на окраине города. Там хоронили умерших от холеры в прежние годы, хоронили и в эту эпидемию. Мы бродили по дорожкам, усыпанным багряной листвой. Для Даниила Кирилловича это была короткая минута отдыха, он не спешил возвращаться в город, с интересом рассматривал покосившиеся от старости памятники.

— Смотрите, ведь это могила Мудрова, — сказал он мне, останавливаясь у глубоко вросшей в землю плиты, покрытой зеленым мхом.

Мудров — замечательный русский ученый, современник Пушкина, друг Чаадаева...

Мы начали счищать мох с камня. Постепенно проступили буквы; и мы, помогая друг другу их разобрать, прочитали надпись. Даниил Кириллович тут же переписал ее себе в блокнот:

«Под сим камнем погребено тело Матвея Яковлевича Мудрова, старшего члена (несколько слов мы так и не смогли разобрать)... холерной комиссии, доктора, профессора и (опять пропуск)... статского советника и разных орденов кавалера, окончившего земное поприще свое после долговременного служения человечеству на христианском подвиге подавания помощи зараженным холерою в Петербурге и павшего от оной жертвой своего усердия. Полезного жития ему было 55 лет. Родился 25 марта 1776 года, умер 8 июля 1831 года».

— Да, вот и мы, брат, так же... «после долговременного служения человечеству», — задумчиво произнес Заболотный, снимая фуражку. — «Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум вlepит непроторный инвалид». Это ведь Пушкин тоже во время холерной эпидемии написал, сидя где-то в карантине.

Он еще раз перечитал надпись и восхищенно добавил:

— «Полезного жития ему было пятьдесят пять лет». Как здорово сказано!

И теперь, когда я пишу жизнь Даниила Кирилловича Заболотного, то, вспоминая этот осенний день, снова и снова думаю о том, что и вся она

тоже прошла под знаком «полезного жития», не было в ней пауз, пустых, потерянных лет...

Только управились с холерой, снова подала вести «черная смерть».

Еще в июле 1910 года стали распространяться слухи о нескольких случаях заболевания чумой в Одессе. Промелькнула паническая заметка в газете «Новое время». Но даже мы, сотрудники Института экспериментальной медицины, ничего толком не знали. Продолжала действовать печальная тактика «потемкинской деревни»: если уж высшие власти пытались всячески замалчивать каждый случай чумы, то градоначальники на местах тем более стремились скрывать правду.

Но в начале августа Даниил Кириллович получил официальное письмо от Городского общественного управления Одессы с просьбой приехать «для консультации по поводу участвовавших случаев острозаразных заболеваний». Стороной мы узнали, что профессор Высокович уже приехал в Одессу из Киева. Значит, положение там создалось серьезное.

Сборы у Даниила Кирилловича, как всегда, были недолгими, и уже через два дня мы проводили его в Одессу.

Я остался в Петербурге и о ходе эпидемии мог судить только по отрывочным газетным сообщениям, к тому же зачастую весьма противоречивым. Суворинское «Новое время» порой помещало такие сенсационно-фантастические телеграммы «от своего собственного корреспондента из Одессы», что Заболотному и «Высоковичу приходилось их опровергать.

Судя по газетным заметкам, в Одессе возникла, как и восемь лет назад, эпидемия сравнительно легкой формы чумы — бубонной. Прививки служили от нее довольно надежной защитой. Но тем непонятнее было, почему же затягивается эпидемия. Наступил уже сентябрь, а она не прекращалась.

Все стало ясным, когда вернулся в Петербург Даниил Кириллович. Я никогда еще не видел его в столь удрученном и злом настроении. Всегда такой мягкий, добродушный, спокойный, он на этот раз был буквально взбешен.

— Не меня туда надо было посылать, а Салтыкова-Щедрина! — сердито заявил он еще на вокзале в ответ на мои расспросы об эпидемии. — Это ж черт знает что, монстры какие-то с фаршированными головами, а не люди! Я от них убежал, невозможно работать. И Высокович уехал к себе в Киев. Помните у Щедрина бравого майора Перехват-Залихватского? Того самого, который въехал в Глухов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки? Так я его видел своими глазами, теперь он уже генерал-

майором стал. То одесский градоначальник генерал Толмачев...

Вечером, немного успокоившись, Даниил Кириллович подробнее рассказал нам о своих злоключениях в Одессе:

— Первый случай заболевания чумой со смертным исходом был зарегистрирован еще двадцать второго мая. Не поверили: надеялись — обойдется. В июле уже тридцать три заболевших. Опять на бога надеются: авось пронесет. Нас с Высоковичем вызывают только через полтора месяца после начала эпидемии! И что мы видим? На Дерибасовской, как в средние века, пылают костры. Жгут что под руку подвернется. Пожарники наяривают во все колокола, мечутся по городу. И впереди, точь-в-точь как щедринский горе-герой, на белом коне скачет сам градоначальник и орет: «Жгите, я вам приказываю!» Представляете, какую панику навели на город? Надо крыс уничтожить: эпидемия, конечно, с них началась. В одном только хлебном магазине Маргулиса обнаружили под полом триста восемьдесятдохлых крыс, из них двадцать одну чумную! Но крыс ведь труднее ловить. Куда проще сжигать подряд все лавчонки, заливать сплошь улицы сулемой, под предлогом дезинфекции бросать в костры последнее жалкое барахло биндюжников да нищих евреев. Тут генерал Толмачев развернулся во всю широту своей натуры...

Да, в чумной эпидемии, поразившей Одессу, не было ничего загадочного. Как и в 1902 году, болезнь завезли сюда корабли, — вероятнее всего, из Александрии, где эпидемии не прекращались все эти годы. Чумные крысы с кораблей, спрятавшиеся в тюках с хлопком, попали на фабричные склады в самый центр города — на Арнаутскую улицу. А рядом бесчисленные базарные лавчонки, знаменитый одесский Привоз. В захламленных подвалах, в подпольях, в помойных ямах, в подземельях одесских катакомб прятались миллионы крыс. И они понесли «черную смерть» по всему городу.

Защиту города следовало начинать с поголовного истребления крыс — это было совершенно ясно уже по опыту прошлой эпидемии. Но генерал Толмачев предпочитал носиться по городу с пожарниками и сжигать «подозрительные» лачуги, наводя панику на жителей.

Слушайте, этот Угрюм-Бурчеев дошел до того, что потребовал с Бельгийского трамвайного общества двадцать тысяч рублей: дескать, земля под трамвайными рельсами заражена на полметра в глубину; и если ему не заплатят, он прикажет снять все пути и вывезить «чумную землю» за город! — с ужасом в голосе рассказывал Заболотный. — Не знаю уж, удалось ли ему сорвать взятку, но бельгийцы сами народ тертый, немедленно отправили делегацию в Петербург. А с нами Толмачев повел форменную

войну. Всё заседания устраивал. Что ни предложишь — отклоняет, и писарь меланхолически заносит в протокол: «Предложение Заболотного о необходимости для участковых врачей жить по их участкам признано невыполнимым...» А что тут невыполнимого, помилуйте?! Элементарная вещь. Заседания идут вяло, опереться не на кого. Высокович совсем инертен: постарел, заметно сдавать стал. Малиновский, присланный из Петербурга для общего руководства, — типичный придворный чиновник, осторожничают, лавирует, дипломатию разводит. Все по принципу: «Чего изволите?»

Заболотный расхохотался и махнул рукой.

— И все-таки так мы осточертели генералу со своей наукой, что решил он нас вообще прекратить. Задумал разгромить нашу штаб-квартиру, бактериологическую станцию. Для сего учредил особую комиссию и поручил ей устроить внезапный разгон. Ну, тут уж вообще какой-то детектив начался. Вдруг получаем мы загадочное письмо. Конверт бактериологической станции адресован, а письмо в нем — городским властям с поручением о разгоне. Потом уже выяснилось, что какой-то несчастный чиновник в генеральской канцелярии в запарке письма перепутал и не в те конверты вложил. Так мы и узнали заранее по его милости о грозящей беде. Успели подготовиться, связаться с Петербургом. Только чиновник, бедолага, пострадал: говорят, уволили его. Но можно ли работать в таких условиях?!

Не было в одесской эпидемии никаких загадок, не принесла она и никаких особенных открытий. Но все-таки, несмотря на самодурство местных властей, Даниилу Кирилловичу удалось немалого добиться. Отличные результаты при лечении бубонной чумы дала сыворотка, которую мы готовили в лабораториях «Чумного форта». Из 133 заболевших умерло только 34 человека; если учесть, что 12 из них были доставлены в больницы уже совершенно безнадежными, смертность от бубонной чумы в Одессе удалось снизить до рекордных по тем временам 20,7 процента. Это заставило всех нас воспрянуть духом и порадоваться.

Полностью было теперь доказано, что никакого эндемического очага чумы в Одессе, как поговаривали некоторые, нет, и если наладить строгий санитарный кордон в порту и повести беспощадную борьбу с крысами, то «черной смерти» навсегда будет заказана дорога в этот прекрасный город.

Весь ход эпидемии был подробно освещен в обстоятельных отчетах, занявших несколько томов. И хотя Даниил Кириллович справедливо ворчал, что «в них было бы важнее поместить снимки с больных, чем официальные рапорты и портреты градоначальников», они не пропали

бесследно для науки. А изданный под редакцией Даниила Кирилловича сборник «Чума в Одессе в 1910 году» и поныне остается превосходным руководством по организации правильной борьбы с чумой.

Так закончилось самое «спокойное» пятилетие в жизни Заболотного...

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ



Однажды в середине ноября 1910 года Заболотный позвонил в «Чумной форт», где я продолжал работать, и попросил срочно, сегодня же, приехать к нему в институт для весьма важного разговора.

— Собраться по-походному? — пошутил я. После короткой паузы он коротко ответил:

— Пожалуй, да.

По его тону я понял, что медлить, похоже, не следует, и с первым же катером отправился в Петербург.

Даниила Кирилловича я застал дома, в кабинете, склонившимся в глубокой задумчивости над старой, потрепанной картой, сопровождавшей нас в странствиях по монгольским степям. В этот момент он был очень похож на полководца, намечающего план сражения.

Уже с первых же слов Заболотного я понял, что сражение нам предстоит нешуточное.

— В Маньчжурии чума, и самая опасная форма: легочная. Первый случай был отмечен вот здесь, на нашей границе, на станции Маньчжурия, двенадцатого октября. Думали обойтись своими силами — не удалось. Эпидемия распространилась на соседние Джалайнарские копи и в более южные районы по линии Китайско-Восточной железной дороги. В октябре в Харбине зарегистрировано уже пятьдесят восемь смертных случаев. Пока еще ничего нет в наших газетах, но меня предупредили, что готовится специальный запрос по этому поводу в Государственной думе: что намеревается сделать русское правительство, дабы преградить дорогу чуме в наши края? А подготовить ответ предложили мне.

— Что же вы им ответите?

Заболотный усмехнулся, потеревил начавшую сесть бородку.

— Мою идею-фикс вы знаете: чуму надо поражать в ее собственном вогнище. Не обороняться, а наступать. Но попробуй я заявить, что считаю совершенно необходимым направить большую экспедицию с группой опытных врачей туда, в Маньчжурию, — представляете, какой вой поднимется?! «Швыряют деньги на ветер!..» А без такой экспедиции оборонять от чумы российские границы, протянувшиеся на тысячи верст по «диким степям Забайкалья», — совершенно бредовая затея.

Он помолчал, разглаживая потертые сгибы карты, потом поднял на меня глаза.

— Пока я хочу добиться хотя бы командировки в Харбин двух человек, чтобы посмотреть на месте, что надо делать. Хотя бы для двух человек — для старого чумагона с его верным соратником найдутся, наконец, у них гроши?!

Я понял, что вопрос о моем участии в этой поездке для Даниила Кирилловича уже решен, в моем согласии он не сомневается.

Мы занялись изучением карты, газетных заметок, заботливо собранных Заболотным в отдельную папку, составлением плана научных работ.

Когда Даниил Кириллович доставал какую-то книгу, из нее выпал недописанный листочек бумаги. Я поднял его, машинально пробежал глазами первые строчки и удивился...

«Научная часть:

1) Доклад «Стремление студентов к науке и способ рациональной борьбы с ними».

2) Доклад «О влиянии полицейского режима на поднятие научного строя».

3) Сообщение «Задние дворы и тетенькины хвосты, как исключительный путь достижения недостижимого».

4) «Об упрощении литературных ссылок до степени: Гиппократ, Боткин и Я», — прокашляет академик...

Художественная часть:

«Осади назад» — исполнит хор штаб-офицеров и очистит от студентов эстраду (в воздухе пахнет скандалом)...

— Это что такое? — изумился я.

— Да, понимаешь, я к юбилею Военно-медицинской академии готовился, — смущенно ответил Даниил Кириллович, отбирая у меня листочек и торопливо засовывая его снова куда-то между книг. — Так я набросал кое-что... вроде капустаника.

Он посмотрел на меня и добавил, грустно вздохнув:

— Теперь не придется повеселиться. Жаль...

Мы снова углубились в расчеты и планы и просидели за ними до глубокой ночи, пока в кабинет не; пришла Людмила Владиславовна. Она увидела карты, записи, лежавшую на краю стола старую, потрепанную кожаную «лекарьску» сумку — и сразу все поняла.

— Опять?.. — тихо спросила она.

— Опять, — виновато ответил Заболотный. — Но, понимаешь, Милочка, совсем ненадолго! И надо, надо мне проехаться, засиделся в кабинете. Помнишь, как у нас на Подольщине поется:

Мени нудно в хати жить.

Ой, вези ж мене з дому,

Де багацко грому, грому!

— «Де гонцюють все дивки да гуляють парубки!»- с грустной усмешкой закончила Людмила Владиславовна, качая головой.

Только тут я вдруг заметил, как сильно она поседела...

Через две недели мы уже ехали с Даниилом Кирилловичем в Маньчжурию.

Пассажиры посматривали на нас с опаской, сторонились. Чем ближе к границе, тем меньше людей оставалось в вагоне. Заголовки газет, которые мы первым делом покупали на каждой станции, становились все тревожнее.

«Более 300 смертных случаев в течение 20 дней на станции

Маньчжурия!»

«Еще около 3 тысяч китайцев обречены на гибель!»

А слухи, мчавшиеся навстречу поезду, были еще невероятнее, еще фантастичнее. «Очевидцы» утверждали, будто на станции Маньчжурия вообще вымерли все до единого жители и она разрушена до основания, сожжена дотла.

Чума якобы охватила уже весь Северный Китай и население толпами бежит к морю, бросая дома и в панике все сметая на пути.

На станцию Маньчжурия поезд прибыл утром 6 декабря. Перрон был почти пуст, на нем только приплясывали озябшие солдаты. Они перебрасывали винтовки из руки в руку, и штыки сверкали багрянцем в лучах морозного солнца.

Поезд остановился. Мы хотели выйти, но у двери уже стояли двое часовых.

Через несколько минут в вагон поднялся высокий, усатый, раздумавшийся от мороза человек лет сорока. Он держался подтянуто, по-военному и выглядел даже щеголевато в форменной путевой шинели. Приложив руку в серой перчатке к лакированному козырьку фуражки, он четко доложил:

— Помощник главного врача Китайско-Восточной дороги доктор Хмара-Борщевский. Рад вас приветствовать, профессор!

Повелительный взмах руки. Часовые взяли на караул, и мы с Даниилом Кирилловичем торжественно сошли на перрон. Пока солдаты выгружали наш немудреный багаж, Хмара-Борщевский лаконично и деловито рассказал об обстановке.

Да, первое официально зарегистрированное заболевание чумой отмечено на станции действительно 12 октября. Но фактически оно было уже не первым. Еще летом поступали отрывочные сведения о каких-то заболеваниях среди охотников за тарбаганами в окрестных селениях. Проверить их не удалось, потому что охотники все время кочуют с места на место, а за лето и осень их здесь перебывало без малого одиннадцать тысяч человек...

— Одиннадцать тысяч охотников?! — воскликнул Заболотный.

— Так точно, профессор. Могу дать точные справки. За август, сентябрь и октябрь их проехало через станцию Маньчжурия около шести тысяч, да четыре тысячи шестьсот еще оставались к началу эпидемии в ближайших окрестностях станции. Я знаком с вашей теорией о роли тарбаганов в распространении чумы, целиком ее поддерживаю и потому обратил особое внимание на сбор соответствующих сведений.

— А хоть одного больного чумой тарбагана вам не удалось поймать?
— нетерпеливо перебил Заболотный.

Хмара-Борщевский пожал широкими плечами.

— Признаться, было не до этого, профессор.

— Понимаю, понимаю, коллега. Тяжеленько пришлось?

— Очень! Я прибыл сюда немедленно, как только получил телеграмму о первом случае чумы. Устроили изоляторы в теплушках и уже к утру на пятый день перевели в них всех, кто соприкасался с больными. Наладили медицинскую проверку всех пассажиров. Начали поголовный осмотр всех жителей станции. Я запретил местным торговцам принимать к погрузке тарбаганьи шкурки без предварительной дезинфекции. Но...

Он обескураженно развел руками.

— Все-таки мы опоздали. В октябре умер триста девяносто один человек. Сейчас эпидемия, кажется пресечена. Но она перекинулась в Харбин и другие города. И в Харбин первым завез ее человек, приехавший именно отсюда, со станции Маньчжурия.

Заболотный понимающе похлопал его по рукаву шинели.

— Что же делать, вы тут ни в чем не повинны, — тихо сказал он. — Пока мы умеем распознавать чуму лишь через три-четыре дня после начала болезни. А за это время ее можно завезти далеко. Так что не станем вешать головы, а будем работать. Покажите-ка нам ваше хозяйство.

Целый день водил нас Хмара-Борщевский по станции и раскинувшемуся вокруг нее поселку. Мы заглядывали в наскоро сколоченные из гнилых досок хибарки, едва поднимавшиеся над землей. По словам Хмара-Борщевского, их понастроили местные жители специально к сезону охоты на тарбаганов. При наплыве охотников в каждую такую полуземлянку набивалось до двадцати ночлежников!

— Понимаете, как трудно было в таких условиях осматривать людей, отыскивать среди них заболевших и проводить дезинфекцию? — с горечью рассказывал Хмара-Борщевский. — Народ темный, неграмотный, к тому же многие совершенно не знают русского языка. Приехали три китайских врача, но очень быстро заразились и умерли один за другим. А нам не верят, прячут больных, даже трупы прячут, только бы спасти свой жалкий скарб и не допустить к нему дезинфекционную команду. К тому же некоторые китайские газеты заняли какую-то странную позицию. Я вам потом покажу вырезки...

Мы осмотрели дезинфекционный отряд, оборудованный по всем правилам, устроенные в поле за станцией печи, на которых еще сжигали трупы, выкопанные в разных местах из-под снега. Потом Хмара-

Борщевский провел нас в больницу на окраине поселка. Дорогу к ней охраняли солдаты. Ни одного больного здесь уже не осталось.

— Отлично распорядились, — сказал Заболотный. И Хмара-Борщевский заметно воспрянул духом, расправил пшеничные усы.

В заключение обхода он привел нас в маленькую лабораторию, устроенную в одном из станционных домиков. Здесь тоже все было сделано хоть незатейливо, но аккуратно: чистые, свежавыкрашенные шкафы, у окна длинный стол с двумя микроскопами.

Хмара-Борщевский надел халат, достал из термостата пробирку, сам нанес на предметное стекло капельку чумной культуры. И мы с Даниилом Кирилловичем, чтобы доставить ему удовольствие, посмотрели Я по очереди в микроскоп на врага, с которым ему так нелегко довелось бороться, — хотя сколько раз уже видели эти палочки с раздутыми концами...

Хмара-Борщевский сбросил шинель, расстегнул форменную тужурку и начал угощать нас чаем. Он сразу стал как-то проще, мягче, разговорчивее.

— Все дело в тарбаганах, вы правы, профессор, — говорил он, тороясь в каких-то бумагах, то снова торопливо начиная прихлебывать чай из громадной дымящейся кружки. — Я за ними слежу уже давно и накопил любопытный материал, только он у меня не здесь, а в Харбине. Обязательно покажу вам и распорядюсь снять копии.

Порывшись в столе, Хмара-Борщевский вытащил несколько газетных листов, усыпанных китайскими иероглифами.

— Вот я вам обещал показать, какие тут статейки про нас порой сочиняют. Специально толмачу приказал полный перевод сделать, чтобы ни единого слова не исказил. Простых людей я по-человечески понимаю. Нарушаем их обычную жизнь, запираем в бараки, отбираем и сжигаем имущество. А что мы им можем гарантировать? Жизнь? Но ведь прививки от легочной чумы не спасают. Почему же они должны нам верить, эти неграмотные, забитые люди? Печальное явление, но понятное. Но когда такое в газетах пишут!..

Поднеся листок бумаги к близоруким глазам, он начал читать срывающимся от гнева и злости голосом:

— «Как жестоки русские власти и бездеятельны китайские! К черту тех и других!» Это заголовок у них такой хлесткий, а дальше: «Эпидемия на станции Маньчжурия уменьшается, и последнее время почти нет новых заболеваний. Тем не менее русские оцепили войсками почти все улицы и выгнали всех жителей, около трех тысяч, в вагоны, разместивши их по

двадцать человек в вагон. Нетронутыми остались только восемнадцать самых больших лавок. Эти несчастные, запертые в вагоны, кричат, плачут. Три раза в день осматривают их доктора и всякого, чуть кашляющего или слабого, объявляют зараженным чумой. Как им защитить свою жизнь?»

Хмара-Борщевский отшвырнул листок и скрипнул зубами.

— Спасает людей, а они...

Я посмотрел на Заболотного. У него было такое выражение, словно он вдруг получил пощечину. Даниил Кириллович долго молчал, негромко покашливая, потом положил руку на плечо Хмаре-Борщевскому.

— Подлецов, торопящихся погреть руки на народной беде, везде хватает: и в России, и в Китае, и в Индии мы их видели. Это первые помощники чумы, помощники сифилиса, холеры, туберкулеза. Так что плюньте на них и расскажите-ка мне лучше, что делается в Харбине...

Мы проговорили в этой тесной комнате на станции Маньчжурия почти всю долгую зимнюю ночь напролет. А утром вместе с Хмарой-Борщевским отправились дальше, в Харбин.

На пустынном перроне, так же оцепленном солдатами, как и на станции Маньчжурия, нас встретил доктор Богуцкий, один из членов созданного в городе чрезвычайного Противочумного бюро. Он отвез нас в гостиницу, а часа через два заехал за нами с доктором Борщевским на двух пролетках, чтобы познакомить с положением в городе прямо на месте, а не по бумажкам, — так хотел Даниил Кириллович.

Город вырос лихорадочно-быстро за какие-то полтора десятка лет на унылой болотистой равнине по берегам мутной Сунгари. Его вызвала к жизни Китайско-Восточная дорога, и до сих пор он как бы и числился «при ней», КВЖД определяла весь ритм жизни Харбина. Санитарной части управления дороги пришлось принять на себя и всю организацию борьбы с эпидемией.

Харбин рос быстро, но без всякого плана.

В центре серыми скалами высились здания банков, торговых контор, гостиниц; богатые особняки прятались за ажурными решетками в глубине просторных дворов. Но даже здесь до сих пор, не было ни водопровода, ни канализации.

А на окраинах — кривые улочки, жалкие фанзы китайских рабочих, грязные базары, где даже среди бела дня под ногами людей шныряли крысы, подозрительные харчевни, опиекурильни, портовые притоны так называемой Пристани. Особенно грязен и заброшен был Фудзядян — китайское селение, разросшееся до размеров самостоятельного городка на окраине Харбина. Никто точно даже не знал, сколько людей живет в его

трущобах: может, тридцать тысяч, а возможно, и вдвое больше. Люди то тысячами стекались сюда в надежде получить какую-нибудь работу, и тогда каждая фанза не только в городе, но и во всех ближних селениях битком набивалась постояльцами; то снова разбредались по всей стране в поисках тощего бедняцкого счастья.

Мы объехали в тот день весь Харбин. На многих улицах штабелями лежали трупы; их не успевали убирать.

Даниил Кириллович настоял, чтобы осмотрели несколько домов на выбор. Солдаты оцепляли фанзу. И каждый раз мы поражались, сколько в этой полуразвалине пряталось людей: уже заполнен весь двор, а люди, запахиваясь в рваные халаты и нередко ступая прямо по снегу босыми ногами, все вылезают и вылезают из каких-то неведомых щелей, поднимаются из погребов, слезают по шатким лесенкам с чердака.

— Да сколько же их там?! — воскликнул пораженный Заболотный.

И ведь каждый мог уже таить в себе невидимую «черную смерть»...

По дороге Богуцкий рассказывал Даниилу Кирилловичу, какие приняты меры для борьбы с эпидемией: весь город оцеплен солдатами карантинной стражи, разбит на восемь участков; за каждым из них закреплены постоянные врачи и фельдшеры. Устроены специальные наблюдательные пункты, куда направляются все подозрительные на чуму. Если подозрение оправдается, заболевшего переводят в чумную больницу.

Чумной пункт располагался на четвертой версте от города, в бывших Московских казармах, остававшихся после русско-японской войны. Место было удобное, изолированное. На огромном дворе, обнесенном высоким забором, нашлись помещения и для лаборатории и для бани, прачечной, кухни, столовой. На трех железнодорожных ветках, заходивших во двор, разместились восемьдесят четыре вагона-теплушки, заменявших бараки для взятых под наблюдение.

Ужасен был только барак, отведенный для чумных больных: земляные полы, нары вместо кроватей, ледяной ветер задувает в щели колючий снег. Нет ни умывальника, ни уборной. Во дворе под навесом грудой лежат трупы, запорошенные снегом.

— Это гнездо чумы надо немедленно сжечь! — заволновался Заболотный. — Не понимаю, как у вас язык поворачивается, господа, называть это больницей!..

На следующий день Даниил Кириллович выступил на заседании Противочумного бюро, попросив предварительно пригласить на него по возможности всех врачей, занятых на эпидемии. Он говорил так напористо и гневно, что осанистый генерал Хорват, управляющий дорогой, несколько

раз тянулся к колокольчику, но потом, передумав, только нервно разглаживал роскошную бороду и позвякивал бесчисленными орденами.

Подробно рассмотрев те меры, которые уже были приняты для защиты города от «черной смерти», Заболотный предложил их существенно дополнить.

— Во-первых, мы должны так наладить медицинскую службу, чтобы держать под постоянным врачебным контролем здоровье всех жителей не только Харбина, но и ближайших селений, — говорил он, властно постукивая кулаком по столу, покрытому толстым зеленым сукном. — Опыт недавней эпидемии в Одессе показал, как важно возможно раньше выявить больного и отделить от здоровых. При легочной чуме лечебный эффект сыворотки очень невелик, поэтому своевременная изоляция больных остается основным средством пресечь дальнейшее распространение эпидемии. Во-вторых, решительная борьба с крысами...

Кроме других санитарных мер по дезинфекции одежды и жилищ, Даниил Кириллович повел речь о вещах, казалось бы, вовсе выходящих за пределы забот медицины:

— Немедленно улучшить жилищные условия беднейшего рабочего населения и устроить ночлежные дома и бесплатные столовые для безработных!

Среди городских чиновников и путейцев, собравшихся в зале, пошел легкий шум. Но Заболотный упрямо повторил:

— Да, да, господа! И бесплатные столовые! Напоминаю вам еще раз, что чума — болезнь прежде всего социальная. Она поражает в первую очередь беднейшие слои населения. Именно им мы и должны помочь.

Большие споры разгорелись в том, стоит ли закрывать на время эпидемии городские школы. Этого требовали многие перепуганные родители. Их поддерживали чиновники городского управления. Один из них встал и, сверкая золотой оправой очков, торжественно зачитал письмо, присланное, по его словам, «весьма почтенным отцом семейства»:

— «Ни для кого не секрет, как относится китайское население к чумной заразе и какие неудовлетворительные меры принимает оно, чтобы обезопасить себя от заражения. Казалось бы, не может быть и речи по поводу того, что дети китайцев, живущие в Фудзядяне, должны прекратить свои занятия в той школе, где вместе с ними обучается более двухсот детей европейцев, но на деле это оказывается не так, и они беспрепятственно продолжают посещать школу...»

Я посмотрел на Заболотного. Он слушал это гнусное письмо, проникнутое расистским «европейским» духом векового презрения к

«азиатам», низко опустив голову, словно сам был в чем-то виноват. По лицу его пошли багровые пятна.

Опасаясь, что он сейчас вспылит и сгоряча наговорит лишнего на этом совещании, где для пользы дела требовалась прежде всего дипломатия, я поспешил взять слово и сказал:

— Позорно и недостойно, конечно, противопоставлять китайских детей европейским и запрещать им посещать школы. Если уж закрывать школы, то для всех без исключения. И при создавшемся положении такая мера кажется мне разумной. Скопление детей в школах, несомненно, может способствовать распространению болезни...

— Чепуха! — резко перебил меня Заболотный. — Простите меня, Владимир Николаевич, но вы говорите ерунду. Наоборот, только в школах мы можем держать детей под постоянным, неослабным контролем. И поэтому закрывать школы, поддаваться шкурной панике некоторых «почтенных отцов семейства» совершенно недопустимо и даже преступно!

Когда мы выходили из зала после заседания, Даниил Кириллович сердито буркнул мне:

— Как вы могли поддерживать этих держиморд? Не понимаю!.. Расистские бредни! Забыли, как им подобные в Индии рассуждали? «Чума — болезнь азиатская, она тут нормальнее гриппа...» Как будто дело в цвете кожи, а не в бытовых и социальных условиях!

— Но я же действительно считал... Так будет разумнее.

— Один мудрый человек сказал, что бывают времена, когда слово «благоразумие» становится синонимом слова «подлость». Закрывать сейчас школы — значит признаться в своем бессилии, выкинуть белый флаг, сдаться: А мы не для этого сюда приехали, чтобы сдаваться.

Заболотному удалось настоять, чтобы ни одна школа не закрыла свои двери ни для «европейских», ни для китайских детей. Он сам разработал подробную инструкцию для школьных врачей. Всех детей осматривали перед началом занятий, всем сделали прививки. И за время эпидемии ни один школьник не заболел.

А эпидемия между тем разгоралась с каждым днем. Все больше заболевших привозили в Чумной пункт облитые известью и сулемой сани «летучего отряда». По указаниям Даниила Кирилловича для заболевших чумой были переоборудованы два новых барака. Теперь они приняли вполне больничный вид: длинный коридор, а по обеим его сторонам небольшие палаты. Все щели в стенах законопачены, полы покрыты линолеумом.

На борьбу с эпидемией вышли все семнадцать железнодорожных

врачей и четырнадцать городских. Среди них было немало женщин: Б. М. Паллон, Ю. В. Алякритская и другие, — не страшившихся даже глубокой ночью по первому зову выезжать в самые глухие и мрачные трущобы города.

Не хватало врачей, санитаров, просто рабочих-добровольцев для дезинфекционных отрядов. Но, услышав тревожные вести, которые разносили по всему свету гудящие ниточки телеграфных проводов, уже спешили в Харбин смелые люди, чтобы помочь китайскому народу в постигшей его беде. Из Томска с десятью студентами-добровольцами приехал молодой врач Владимир Михель. Из Петербурга примчался на экспрессе недавно окончивший Военно-медицинскую академию нескладный и близорукий Илья Мамонтов, которому все родные и знакомые прочили блестящую придворную карьеру, потому что воспитывался он в «благородном» Пажеском корпусе.

Еще ничего не зная об эпидемии, приехала в Харбин Мария Александровна Лебедева, земский врач из подмосковного Дмитровского уезда. Ехала она погостить у родных, отдохнуть, а попала в самое пекло. И вот, забыв об отдыхе, об отпуске, который давно уже кончился, эта худенькая женщина с печальными серыми глазами днем и ночью ходит по фанзам, забираясь в самые грязные трущобы, чтобы не пропустить ни одного больного.

Вышли на борьбу с эпидемией и добровольцы из других стран. Из Парижа приехал врач-бактериолог Жерар Мени. Ему было уже за сорок. Держался он просто, был всегда весел, остроумен и быстро подружился с томскими студентами. Познакомившись с Заболотным, Мени пришел в восторг.

— О, я давно мечтал поработать с таким человеком, как вы, профессор! — сказал он, учтиво склоняя голову с безукоризненным блестящим пробором. — Поверьте, это для меня настоящий праздник!

Разговор происходил в чумном бараке, из которого как раз в этот момент два угрюмых санитаров выносили очередной труп, шаркая огромными, неуклюжими калошами. И Даниил Кириллович невесело усмехнулся:

— Хорошенький праздник! Я предпочитал бы встретиться с вами, дорогой коллега, в более уютной обстановке.

Налаживание прививок, лекции об их пользе и безопасности, хлопоты по добыванию денег и материалов для новой больницы, все-таки отвоеванной Заболотным у железнодорожного начальства, всякие организационные заботы занимали у нас целые дни, и встречались мы с

Даниилом Кирилловичем обычно только поздними вечерами в холодном и сыром номере гостиницы. Пили чай за ободранным столиком красного дерева на причудливо гнутых ножках и рассказывали друг другу, что удалось сделать за день. — Надо людей, людей! И людей опытных, — устало говорил Заболотный, тщетно пытаясь размочить в кружке с остывшим чаем совершенно окаменевший сухарь. — Сегодня приехало еще три студента из Иркутска. Смелые, добрые, энергичные хлопцы. Но ведь это только солдаты, а» вот штаба-то у нас нет. Чума уже пробралась в Мукден, в Порт-Артур, отмечены первые случаи заболевания в Пекине. Тут дело принимает такой размах, что без плановой, хорошо продуманной обороны эпидемии не прекратить. И мы же не просто врачи, а ученые мужи некоторым образом. Должны вперед смотреть. Не только об этой эпидемии думать, но и принять меры, чтобы она оказалась последней, никогда больше не повторялась в будущем. Меня тут Хмара-Борщевский завалил газетами, так в них на всех языках тарбаганы склоняются: «Дуже красивый мех! Последний крик моды!» Меховые фабриканты Германии и Франции применили новый метод выделки тарбаганьих шкурок. Вот, оказывается, в чем дело. Спрос повысился, и газетчики орут наперебой: «Каждая красавица должна сшить себе шубку из тарбаганьих шкурок!» Пятьдесят европейских пушных фирм прислали нынче сюда своих представителей специально для скупки шкурок тарбаганов. Вот я выписал тут весьма любопытные цифры: в 1908 году в Маньчжурии добыто семьсот тысяч тарбаганьих шкурок, через год — восемьсот тысяч, а в нынешнем, 1910, — уже два с половиной миллиона! А цена на каждую шкурку поднялась с тридцати копеек в 1907 году до рубля двадцати в нынешнем. Вот почему и кинулись десять тысяч охотников в маньчжурские степи.

— Значит, вы снова считаете, будто эпидемия началась с тарбаганов? Именно они хранят ее в природе?

— Совершенно уверен! Но дело-то ведь не во мне. Надо всех убедить. А для этого нужна экспедиция, нужна кропотливая научная работа. И чую: мы у самой разгадки. Еще немного — и вор будет пойман, помяните слово старого чумагона!..

Второй раз уже за последнее время Даниил Кириллович называет себя стариком. А ведь ему вчера исполнилось только сорок четыре года! Отметим мы это событие тихо, по-домашнему, распив вдвоем в этом мрачноватом и неуютном номере бутылку какого-то кислейшего вина.

Он сильно устает, похудел, на висках и в усах все заметнее седина. Но до старости еще далеко. Или просто с усталости записывает он себя в старики?..

Чем больше мы беседовали так вечерами, тем яснее становилось, что действительно нужно возвращаться в Россию и немедленно снаряжать большую научную экспедицию. Поедет один Заболотный, решили мы, а я останусь в Харбине.

— Не легкая будет у вас тут жизнь, — усмехнулся Даниил Кириллович. — Чтобы этих чиновных мастодонтов раскачать, нужно их каждый час жалить и подстегивать.

— Да и вам придется не легче; Даниил Кириллович, — засмеялся я.

— Верно. Но я их пугну! Я в такой набат ударю, что вся Россия всколыхнется. Добровольцев наберу, пойду с шапкой по церковным папертям, но экспедицию сюда привезу!

Двадцать третьего декабря я проводил Заболотного в Петербург.

— Берегите себя! — крикнул он мне на прощание и погрозил пальцем. — И хлопцев берегите. Вон Мамонтов какой близорукий, все носом тычется. Чтобы к моему возвращению все были целы!

Я помахал ему рукой и крикнул:

— Обещаю! Только возвращайтесь поскорее!

Какое это было самонадеянное обещание!..

Через пять дней, 28 декабря, когда я был на строительстве новой больницы, меня разыскал один из студентов с запиской от доктора Богуцкого. В ней стояло только два слова: «Приезжайте немедленно».

Нахлестывая тощую лошаденку, мы помчались по обледеневшим после вчерашней оттепели улицам в чумную больницу.

Богуцкий встретил меня на пороге лаборатории.

— Кто? — спросил я.

— Доктор Мени. Утром почувствовал недомогание. Температура была 38,2. Сам пришел сюда. Мы поместили его в одиннадцатый изоляционный барак.

— Мокрота для анализа взята?

— Вот, несусь.

Он отдал пробу для анализа лаборанту, и мы отправились в изоляционный барак.

Жерар Мени лежал на койке в углу и молча смотрел, как мы дуем на руки, чтобы согреть их перед осмотром.

— Ну, коллега, где же это вас угораздило простудиться? — спросил я, внутренне ужасаясь фальшивой бодрости своего тона.

Он не ответил. Только глаза его усмехнулись. Мы осмотрели его — сначала Богуцкий, потом я. Мне послышались какие-то подозрительные хрипы в легких.

— У вас что-нибудь было с легкими?

— У меня была пневмония в прошлом году, — поколебавшись, ответил Мени. — Страдал бронхитом.

— Туберкулез?

— Сам не болел, но в семье были случаи.

— Как же вы решились поехать на эпидемию легочной чумы? — сердито спросил Богуцкий.

Мени не ответил.

Пока никаких явных признаков чумы не было. Можно еще надеяться, что недомогание нашего французского товарища вызвано воспалением легких или вновь разыгравшимся бронхитом. Но на всякий случай, не ожидая результатов анализа, мы ввели ему двести тридцать кубиков сыворотки.

Когда мы уже уходили, доктор Мени вдруг окликнул меня.

— Профессор Заболотный уехал? — спросил он таким тоном, что я сразу понял: сам Мени отлично понимает, чем он заразился.

Через час анализ был готов, и мы с Богуцким отчетливо увидели в круглом светящемся поле микроскопа проклятые прозрачные палочки с утолщенными концами.

Из расспросов выяснилось, что доктор Мени, видимо, заразился как раз в день отъезда Заболотного, работая в чумной больнице. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы болезнь уже успела прочно угнездиться в его теле. И действительно, сначала коварно притаившаяся, она начала стремительно добивать нашего товарища. Слабело сердце, прерывистым становилось дыхание.

Вечером 30 декабря доктор Жерар Мени скончался.

«ВСЕ ЭТО НЕДАРОМ...»



Эта смерть, такая внезапная и стремительная, произвела очень тяжелое впечатление на всех нас. Особенно потрясены были студенты, вдруг реально ощутившие, на каком тонком волоске держится жизнь каждого, кто вышел на борьбу с чумой.

Приближался Новый год. Чтобы не чувствовать себя оторванными от всего мира, мы собирались устроить елку в больнице, товарищеский ужин. Теперь все это казалось кощунством. И все-таки мы с Богуцки

настояли, чтобы елка была украшена и поставлена в одной из комнат лаборатории. За несколько минут до полуночи все свободные от дежурства врачи и студенты собрались вокруг нее, зажгли свечи. Но праздника, конечно, не получилось.

Мы все страшно уставали. Очень много времени и сил отнимали ежедневные обходы участков. В каждую фанзу приходилось заглядывать заново почти ежедневно, чтобы как можно раньше обнаружить заболевших.

А эти лачуги были до того тесны и темны, что, бывало, войдешь в фанзу с улицы и решительно ничего не видишь за сплошным дымом и копотью. Не редко даже в ясный морозный день для осмотра больных приходилось зажигать свечу или лампу.

А людей в некоторых фанзах набивалось так много, что невозможно повернуться. Хоть выводил их на улицу для медицинского осмотра.

Первое время очень осложняло нашу работу недоверчивое отношение многих местных жителей. Боясь, как бы их не выселили из последних жалких лачуг прямо на зимнюю улицу, некоторые скрывали больных, прятали зараженные чумой трупы.

Не сразу удалось сломить недоверие; и каждому из нас приходилось затрачивать на это массу времени и труда.

Особенно тяжело доставалось сотрудникам «летучего отряда», нередко выезжавшим даже среди ночи по первому вызову для вывозки больных или обнаруженных трупов. Работать им приходилось в защитных костюмах, очень стеснявших движения. Поверх обычного белого халата надевался еще второй, прорезиненный, и такие же брюки. На ногах — неуклюжие резиновые боты, на руках перчатки. У каждого на голове прорезиненный шлем, края которого прикрывают плечи. Чтобы не вдохнуть случайно чумные бактерии вместе с воздухом, нос и рот приходилось закрывать маской из марли с прослойками ваты. Глаза защищали темные очки-консервы. А после вскрытия, прежде чем снять эти доспехи, приходилось в них принимать еще холодный душ: каждого обрызгивали с ног до головы вонючей жидкостью из гидропульта...

Можете себе представить, каково было в таком одеянии часами вскрывать умерших или карабкаться по шаткой лесенке куда-нибудь на чердак, где, по слухам, спрятали труп?

Вернувшись с очередного обхода, студент-доброволец Суворов рассказывал: |

— Сообщили нам, что в фанзе на Японской улице лежит на чердаке чумной труп. Отправились туда. Чердак такой, что одному не повернуться. Полез туда санитар Воронин, я ему отдал свою маску. Вылезает он обратно, — я так и ахнул: маска сползла куда-то на шею, рот открыт. Протискиваясь сквозь узкое окошко, ему пришлось сильно задрать голову, вот маска и слетела. Порвал не только халат, но и рубашку — голое тело видно. Лезет он, а сверху нам на головы целая туча сора и пыли посыпалась. А ведь там, на чердаке, несколько дней скрывались четверо больных, из них один уже к нашему приходу умер. Не думаю, что Воронин вдохнул в себя еще влажную инфекцию, но что он, конечно, наглотался сухой и, безусловно,

зараженной пыли — не сомневаюсь. Если останется здоров, просто чудо!..

В этот раз Воронин действительно каким-то чудом остался здоров. Но не прошло и месяца, как он все-таки заразился, вывозя вместе с Марией Александровной Лебедевой больных из совершенно развалившейся фанзы, и в три дня умер...

Рукопожатия отменены, каждый кашель заставляет тревожно оглянуться и всматриваться в лицо товарища: не заразился ли он?..

Работая в такой обстановке, мы, конечно, невероятно уставали и морально. К тому же очень угнетающе действовал на многих, особенно на молодежь, впервые попавшую на эпидемию, тот подленький панический ужас, с которым от нас всячески сторонились местные чиновники и прочая «просвещенная публика». В гостиницах города отказывались сдавать номера нашим врачам и студентам. Стоило кому-нибудь из нас прийти на концерт или просто в клуб, как вокруг него немедленно возникало зловещее пустое пространство.

Глупая и совершенно необоснованная паника доходила до того, что однажды глубокой ночью доктора Богуцкого разбудил на квартире смертельно перепуганный один из «отцов города» и потребовал, чтобы ему тут же, немедленно, сделали прививку... Оказалось, что он, отправившись на охоту, видно спяну, очутился на пустыре возле нашего Чумного пункта, который теперь все называли почему-то «Московским». Этого оказалось достаточным, чтобы чиновник вообразил себя заразившимся чумой.

Вот в таких условиях приходилось нам работать. И я все время опасался, что усталость, буквально валившая людей с ног, необходимость жить в постоянном напряжении, гнетущее чувство одиночества могут у некоторых постепенно притупить осторожность, сделать их рассеянными, пассивными. А каждому из нас ни на минуту нельзя было терять над собой контроль...

Я хорошо помнил, как мужественно и в то же время осторожно всегда работал на эпидемиях Заболотный. И нас он всегда учил не бросаться сломя голову в опасные места, а подходить к ним спокойно, трезво, отчетливо видя, откуда может грозить опасность и как ее отразить.

Я навсегда запомнил его слова:

— Ни трусить, ни рисковать собой зря, по-гусарски мы, брат, просто не имеем права. Ведь если я по неосторожности заражусь да помру во время эпидемии, это вовсе не только мое частное дело. Я прихвачу с собой на тот свет еще немало людей, оставив их по своей глупости беззащитными.

Но многие из нас впервые столкнулись с «черной смертью» в такой

напряженной битве, не знали еще ее коварных привычек, были молоды, слишком горячи...

Улучив момент, «черная смерть» не замедлила напомнить нам о себе и нанесла не один тяжелый удар, а сразу несколько.

«Летучим отрядом» временно заведовал наш общий любимец студент Лев Беляев. Ему было двадцать восемь лет, учился он уже на последнем курсе и подавал большие надежды: Он всех заражал хвоей веселой энергией. И стоило только появиться в дверях его коренастой, рано располневшей фигуре с выхоленными «мушкетерскими» усиками, как на всех лицах проскальзывали улыбки.

В этот день, 8 января 1911 года, Беляев пришел на работу позже обычного. Ночью ему пришлось самому выезжать по вызову за больным. Но кто-то распустил слух, будто Беляев проспал, потому что слишком увлекся вчера танцами на маскараде в Железнодорожном собрании. Эту выдумку все с удовольствием подхватили и встретили Беляева веселыми шуточками. Он так же весело отшучивался.

Среди шумного спора он вдруг закашлялся, поднес ко рту платок — и, взглянув на него, круто повернулся и выскочил из комнаты.

Так, прижимая платок к губам, он и вошел в кабинет доктора Богуцкого, где я случайно находился в этот момент. Беляев молча показал нам издали платок, и мы увидели на нем следы алой крови.

Приговор, почти наверняка не подлежащий обжалованию, был подписан через час, когда в лаборатории закончили анализ.

Беляева уложили в маленькой комнатке изоляционного барака. Вечером мы с Богуцким пошли навестить его. Как и полагалось по инструкции, мы надели прорезиненные халаты и закрыли лица белыми масками. Но у двери, за которой лежал Беляев, мы с Богуцким переглянулись и молча сняли маски. Так мы и беседовали в последний раз с нашим товарищем — с открытыми лицами.

Лева держался бодро, продолжал шутить. Только часто пил воду, и в пепельнице на столике выросла за день большая гора окурков.

— Не нужно ли мне чего? — Беляев усмехнулся, покрутив свои «мушкетерские» роскошные усы. — Дайте мне, братцы, шампанского. Давно не пил, целую вечность! А теперь можно...

Болезнь у него развивалась медленно, словно крадучись. Прошло три дня, а температура поднялась очень незначительно, никакой боли он не чувствовал, только слабость, и с надеждой сказал Марии Александровне Лебедевой, когда та делала ему укол:

— Слушай, Маша, а вдруг я буду первым выздоровевшим от легочной

чумы? Представляешь, ведь меня тогда замучают, будут по выставкам возить, в музеях показывать.

А на следующее утро заболела и Лебедева.

Она заразилась не от Беляева, за которым ухаживала заботливей родной матери, а вывозя накануне вечером чумных больных из одной фанзы на Базарной улице. Там оказалось одиннадцать больных в тяжелом состоянии и три трупа. Чтобы добраться до них, Лебедевой и санитару Воронину пришлось разобрать крышу. Мимо проезжал студент Суворов, хотел им помочь, но Лебедева непустила его в фанзу, встала в дверях и сказала:

— Вам тут нечего делать, мы справимся одни.

Утром пришла она, как обычно, в дежурку «летучего отряда» очень рано, часов в пять, и, сев за стол напротив дежурившего Суворова, начала заполнять ведомость о работе за прошлый день. Она закашлялась, так же, как и Беляев, заметила кровь на платке и немедленно отправила его для анализа в лабораторию. А сама закрылась у себя в комнатке, — жила она тут же, прямо в помещении «летучего отряда».

Когда из лаборатории сообщили, что на платке обнаружены микробы чумы, мы с Богуцким немедленно поехали к Лебедевой.

Она стояла у окна в строгом черном платье с высоким воротничком, которое делало ее совсем молодой. Все вещи были собраны и аккуратно перевязаны бечевкой. Увидев нас, Лебедева просто сказала:

— Я вас ждала. Пойдемте.

На столе лежал бланк истории болезни. Первые записи в нем она сделала своим твердым, красивым почерком:

«№ 435.

Лебедева Мария Александровна.

Род занятий: врач.

Лета: 36.

Национальность: Русская.

Болезнь: Pneumonia pestica».

Осложнило и ускорило болезнь то, что Мария Александровна, оказывается, раньше болела туберкулезом. Она заполучила его, сидя в Бутырской тюрьме за «революционную пропаганду». Об этом мы узнали только теперь...

Они умерли в один день, 14 января 1911 года. Мария Александровна Лебедева без сознания, в десять часов утра, и я сам заполнил последнюю

графу в ее коротенькой истории болезни:

«Исход болезни: смерть».

Умирая, Лебедева попросила, чтобы ее похоронили не отдельно, а в одной братской могиле с китайскими рабочими, портовыми кули, нищими, которых она старалась спасти от «черной смерти», но так и не смогла. Мы выполнили ее последнюю просьбу.

Лев Михайлович Беляев умер в полночь, без агонии. Когда отодвигали кровать, чтобы вынести его тело, мы увидели на стене надпись красным карандашом:

«Прошу после смерти уведомить мать и позаботиться о ней.
Товарищи, прощайте!»

...Рассказывая так подробно о гибели наших товарищей, я ловлю себя на мысли: а нужно ли это делать? Ведь книга эта посвящена Заболотному, а Даниил Кириллович в те трагические дни был далеко от нас, в Петербурге, пытаюсь добыть деньги на экспедицию. Может, все, что произошло без него в Харбине, следовало опустить?

Но память о благородных, отважных людях, отдавших беззаветно свои жизни ради спасения китайских рабочих, женщин, детей, не должна заглухнуть. Мы не можем, не смеем о них забывать!..

И потом: разве эти удивительные люди не были учениками, питомцами Даниила Кирилловича? Это он вдохновил их на подвиг, научил, не задумываясь, жертвовать собой ради счастья людей, — передал им «чекан души своей». О Заболотном с сыновней теплотой вспоминал Лев Беляев, когда мы дежурили у его последнего, смертного ложа. Его звала в бреду, умирая, Мария Александровна Лебедева.

Как ждали мы все его тогда, в те горькие, ужасные дни, и как долго, казалось, он не возвращался! Письма от него приходили с большим опозданием. Да и в них основное место занимали подробные советы, как лучше организовать борьбу против чумы. А о той борьбе, какую ему приходилось вести с чиновниками в Петербурге, Заболотный сообщал скупое.

Письма к нам вообще приходили не регулярно. Ждали их с нетерпением, но больше всех почему-то переживал Илюша Мамонтов. И особенно радовался, когда получал письмецо, написанное неуверенными, детскими каракулями.

От товарища Ильи по Военно-медицинской академии студента Исаева мы случайно узнали, что пишет эти письма Мамонтову двенадцатилетний мальчонка Петька. Он потерял родителей во время холерной эпидемии в Петербурге и был поэтому наречен Бесфамильным. Мамонтов его усыновил.

В середине января в газете «Русский врач», среди рекламных объявлений о том, что «нет больше лысых» и что «по первому требованию высылаются новейшие гимнастические приборы специально для дам, детей, мужчин и атлетов», промелькнуло коротенькое сообщение о совещании бактериологов в Петербурге, где профессор Заболотный призывал немедленно отправить научную экспедицию на чумную эпидемию в Маньчжурии. Но как отнеслось к этому совещание, в заметке ничего не говорилось.

Потом из другой газеты — кажется, это было «Новое время» — мы узнали, что 19 января Даниил Кириллович даже выступил с речью на заседании Государственной думы. Хорошо зная отвращение «старого Чумагона» к чиновному миру и подобным, официальным выступлениям, мы поняли, что Заболотный решился уже действительно на крайние меры и ударил в самый большой набат.

Теперь мы ждали его со дня на день.

Но тут грянула новая беда: заразился и в три Аня сгорел врач Владимир Мартынович Михель, приехавший на эпидемию во главе группы студентов томичей.

В день его похорон пришла, наконец, долгожданная телеграмма: «Экспедиция выезжает третьего февраля. Встречайте. Заболотный».

А «черная смерть» не унималась. Заболела одна из наших самых самоотверженных сестер милосердия, Аня Снежкова — милая, застенчивая женщина. У нас она работала недавно, всего с месяц, но успела всех расположить к себе.

Она так близко принимала к сердцу чужую беду, что порой вела себя очень неосторожно: близко наклонялась над больными, снимала перчатки, чтобы умирающий почувствовал на прощание живое тепло руки. Мне доложили об этом, и я поговорил со Снежковой. Она обещала строго соблюдать все жесткие правила, установленные на время эпидемии, но так и не убереглась, хотя ей дважды делали, как и всем сотрудникам «Московского пункта», предохранительные прививки.

Ухаживать за умиравшей Аней вызвался Илья Мамонтов. Я уже рассказывал об этом рослом, добродушном и очень талантливом юноше, отличавшемся удивительной душевной чистотой и благородством. Еще

студентом он работал на эпидемиях холеры в Тамбове и в Екатеринославе, проходил практику по собственному почину в Обуховской больнице, где лечилась в основном рабочая беднота столичных окраин. Одним из первых приехал Илья добровольцем и сюда, в Харбин.

Был у него, пожалуй, только один недостаток, в обычной жизни просто забавный и никому не причиняющий особого вреда, но для врача, работающего на чумной эпидемии, где смерть всегда ходит за тобой по пятам, совершенно нетерпимый: он был очень рассеян. Путал колбы с растворами, наклоняясь над больным, вдруг ронял пенсне.

Перед отъездом Даниил Кириллович, который за несколько дней знакомства успел полюбить этого чудесного человека, особо напоминал мне:

— Следите за этим лохматым хлопчиком! Рассеянность бактериолога до добра не доведет...

Мы все, как могли, оберегали Мамонтова, хотя он порой и обижался по-смешному:

— Вымыл, вымыл руки! Ну что вы ко мне все пристаёте? Хотите, еще раз пойду помою, пожалуйста!

Мы с Богуцким не хотели разрешать ему дежурить у постели Снежковой, но Илья настоял на своем с какой-то совершенно несвойственной ему решительностью и резкостью.

— Это уже какая-то дискриминация! — разбушевался он. — Я буду жаловаться Даниилу Кирилловичу! Специально приехал на эпидемию из Петербурга за черт знает сколько верст, а меня не допускают к больным!

— Но при вашей рассеянности это опасно, — пытался его урезонить Богуцкий.

— Опасно вообще жить на свете. Мне трижды делали прививки, могу подтвердить справками, если не верите. И никакой особой опасности решительно нет. А вы подумали о том, какое тяжелое впечатление произведет на Аню, если она увидит, что я боюсь к ней подойти?!

Мы не могли его переспорить, и Мамонтов целые дни проводил в тесной комнатке чумного барака, где умирала Аня Снежкова. Он сам делал ей прививки, кормил ее с ложечки бульоном, рассказывал о своей матери и сестрах, которых, видно, очень любил, читал ей какие-то книги.

Мы с Богуцким все-таки твердо решили под любым предлогом запретить Мамонтову работать в чумной больнице. Но не успели...

В день приезда Заболотного с экспедицией у нас в «Московском пункте» с раннего утра царило праздничное, радостное возбуждение. Только тот, кто пережил с нами эту бесконечную страшную зиму вдали от

родины, среди трупов и стонов, под постоянной Угрозой смерти, мог бы понять наши чувства. Товарищи спешили к нам на помощь, спешил Даниил Кириллович, без которого нам приходилось так трудно. Они везли письма, свежие газеты, весточки от родных и знакомых.

Все приоделись, еще за час отправились на вокзал и там, приплясывая на морозе, ждали. Но вот, обдавая нас густыми клубами пара, поезд останавливается у перрона. Объятия, веселые выкрики, поцелуи, слезы...

Размахивая шапкой, тянется к Даниилу Кирилловичу ликующий Илюша Мамонтов. Даже он сегодня не усидел на дежурстве...

Заболотный знакомит нас с участниками экспедиции. Некоторых я знаю уже не первый год: профессора Златогорова, опытного прозектора приват-доцента Кулеша, Падлевского — талантливого, ассистента Даниила Кирилловича. Но, кроме этих опытных чумагонов, не испугалось, приехало и много молодежи.

...Я смотрю на старую, пожелтевшую фотографию, сделанную тогда, полвека назад, в день приезда экспедиции. На совсем юную девочку, будто прямо с гимназической скамьи, похожа круглолицая, с пышным бантом Яльцева. На голове у Л. Степановой, сделавшей для солидности строгое лицо, — пышная смешная шляпка: наверное, самая модная по тем временам. Рядом Аня Чурилина в строгой кофточке, которая делает ее старше. Из-за плеча Заболотного выглядывает лукаво улыбающаяся Маша Суражевская.

Какими молодыми были они все тогда! И для всех их эта первая экспедиция с Заболотным стала великим боевым крещением, первым грозным испытанием на трудном пути в науку. И как чертовски приятно, что ни одна из этих милых девушек не сошла потом с этого опасного пути, самоотверженно продолжая дело Заболотного!

Когда мы шумной толпой выходили из вокзала на площадь, где нас поджидала целая кавалькада пролетов, меня отозвал в сторону Богуцкий.

— С Мамонтовым неладно, — тихо сказал он.

— Где он?

— Ему стало плохо, закружилась голова, я отвел его в кабинет дежурного.

Мы прошли туда. Илья Мамонтов сидел у окна, неловко зажав под мышкой градусник, и что-то рисовал на морозном стекле.

— Вот не везет! Такой день, а я простудился, — смущенно пробасил он, стараясь не смотреть на нас.

Термометр показал 37,4. Легкий жар, слабость, кашель — в самом деле это могла быть и простуда.

А если нет? Ведь он только что обнимал на радостях всех товарищей, этих чудесных девушек, целовал Заболотного...

— Дайте время нам уехать и поезжайте с ним в больницу, — сказал я Богуцкому. — И немедленно самый тщательный анализ.

Сидя рядом с Заболотным в пролетке, которая, раскачиваясь и дребезжа, везла нас по улицам Харбина, я шепотом на ухо рассказал о беде.

Положение было очень трудным. Если сейчас же, не откладывая, сделать прививки всем участникам экспедиции, потому что им пожимал руки Илья Мамонтов, какое удручающее впечатление это может произвести!

— Может быть, отложить решение вопроса до результатов анализа?

— Нет, — решительно запротестовал Заболотный. — Прививку всем и немедленно, без всяких упоминаний о Мамонтове. Они подумают, что это обязательное мероприятие для всех, начинающих работу на эпидемии. Кстати, так и должно быть. Пусть это будет первый аккорд, как бы камертон. И если он кого напугает, тому вообще здесь не место.

На следующее утро все участники экспедиции уже начали работать по детальному плану, который Даниил Кириллович, конечно, успел разработать и обсудить подробно еще в дороге. А мы занялись судьбой Мамонтова.

Тринадцать проб было подвергнуто тщательному анализу в лаборатории, и ни одна из них не дала никаких признаков чумы. Мы уже воспрянули духом. Но четырнадцатая проба содержала в себе массу чумных палочек.

Три предохранительные прививки, которые действительно были в разное время сделаны Мамонтову, оказались бессильны. Не приносили облегчения и большие дозы сыворотки, хотя мы и вводили их одну за другой.

Илья Мамонтов признался. Заболотному, что четыре года назад перенес крупозное воспаление легких и ему даже пришлось делать операцию.

— Зачем же вы скрыли это, Илюша? — спросил Даниил Кириллович.

— Иначе меня бы не пустили на эпидемию, ведь верно? — ответил Мамонтов.

Держался он спокойно, только переживал, как бы не заразились товарищи.

— Убить меня мало, что поехал на вокзал!..

Расспрашивал, как себя чувствует Снежкова, потом попросил бумаги и долго что-то писал, часто отрываясь и задумываясь, подперев остриженную

голову рукой.

Даниил Кириллович где-то раздобыл в зачумленном городе несколько тюльпанов. Их поставили на тумбочке у кровати Мамонтова в щербатом стакане вместо вазы.

Аня Снежкова умерла днем раньше его, на рассвете. Мы скрыли это от Мамонтова. В этот день он почувствовал себя лучше, неожиданно попросил, чтобы ему поиграли на гармошке, и даже подпевал товарищам. Потом, когда все ушли, снова принялся за письмо.

Он успел дописать его и спрятал в тумбочку возле кровати, прежде чем болезнь помутила ему сознание. В бреду он произносил какие-то бессвязные фразы. А когда я наклонился поближе, пытаюсь понять его, то он вдруг вполне отчетливо проговорил:

— Ну вот, а мы ругались из-за трупов... Как мальчишки!

Умер он, так и не приходя в сознание, вечером, когда сгустились сумерки. В их синеве уже чувствовалась близость весны. Снег под окном стал рыхлым, ноздреватым, и даже в этот вечерний час было слышно, как звонко падает капель за окном.

Я достал из тумбочки письмо, которое так и не успел запечатать в конверт Мамонтов. Надо было узнать, кому оно адресовано, и после дезинфекции отправить.

Даниил Кириллович взял у меня письмо, развернул.

— Это матери, — сказал он, пробежав первые строчки, но продолжал читать до конца. Потом сунул торопливо письмо мне в руки и отошел к окну.

Вот что писал Илья Мамонтов в последние часы своей жизни:

«Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболевают, то это, стало быть, чума. Милая мамочка, мне страшно обидно, что это доставит тебе огорчение, но ничего не поделаешь, я не виноват в этом, так как все меры, обещанные дома, я исполнял.

Честное слово, что с моей стороны не было нисколько желания порисоваться или порисковать. Наоборот, мне казалось, что нет ничего лучше жизни, но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга. И, как это тебе ни тяжело, нужно же признаться, что жизнь отдельного человека — ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастья человечества ведь нужны же жертвы.

Я глубоко верю, что это счастье наступит, и если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно я сделать все, на что хватило бы сил, для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал, но я надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые отдадут все, что имеют, для общего счастья и, если потребуется, не пожалеют личной жизни. Жалко только, если гибнут даром, без дела. Я надеюсь, что сестры будут такими работниками.

Я представляю счастье, каким была бы для меня, работа с ними, но раз не выходит, что поделаешь... Жизнь теперь — это борьба за будущее... Надо верить, что все это не даром и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь.

Ну, мама, прощай... Позаботься о моем Петьке!

Целую всех. Хочу еще написать Саше и Маше, что еще, конечно, успею.

Твой Илья».

«ВОР» ПОЙМАН!



С приходом Заболотного все руководство борьбой с «черной смертью» снова перешло к нему. Получив подкрепление, мы наконец-то обрели возможность заняться и научной работой. А без нее всякая серьезная борьба была просто немыслима. Предстояло прежде всего докопаться до «корней», чтобы подобный Ужас больше никогда и нигде не мог повториться.

А «черная смерть», как и прежде, продолжала играть с нами в прятки.

Исследуя истории некоторых заболеваний, мы порой сталкивались с такими причудливо запутанными случаями, что их приходилось распутывать ниточку за ниточкой, словно заправским детективом.

Необычной и загадочной оказалась история казака Леонтия Монопонова. Его сняли с поезда с температурой 40,5 и немедленно отправили в изолятор. Сколько ни проводили анализов, никаких признаков чумы. Решили даже, что у него просто катаральная ангина, но все-таки

оставили в больнице.

На четвертую ночь Монопонов бежал, разбив окно. Его обнаружили снова только через пять дней в избушке путевого обходчика, — но уже мертвым. В пробе, взятой для анализа, кишмя кишели чумные палочки.

Из расспросов выяснилось, что Монопонов был, оказывается, тайным спиртоносом и за эти пять дней после бегства из больницы успел побывать во многих притонах и харчевнях. И вот нам, точно сыщикам, пришлось теперь идти по его запутанным следам и отыскивать всех, кому он мог передать заразу...

Заразу передавали не только люди, она распространялась и через вещи. В наш музей после долгих розысков попала старая трубка с длинным чубуком и чашечкой, прикрытой резной металлической крышкой. Переходя от одного курильщика опиума к другому, она успела умертвить не менее пятнадцати человек! И если бы описать всю историю ее блужданий по городу, получился бы рассказ совсем в духе Шерлока Холмса.

По плану Даниила Кирилловича мы развернули охоту за крысами: среди четырехсот пойманных оказалась всего-навсего одна чумная. Значит, их на сей раз никак нельзя было обвинить в возникновении эпидемии. Собственно, мы этого и не ожидали, потому что, когда несколькими годами раньше разразилась подобная эпидемия в Мукдене, профессор Китазато, прославившийся в свое время открытием чумной бациллы, исследовал даже тридцать тысяч крыс и среди них не обнаружил вообще ни одной заболевшей.

Загадку маньчжурской эпидемии следовало искать в другом. Но в чем? Откуда она вырвалась на свободу?

— Она прячется в тарбаганьих норах! — упрямо настаивал на своем Заболотный. — Чуму в Харбин и другие города Китая первыми занесли из степей охотники за тарбаганами, а потом уже она начала распространяться от человека к человеку.

Даниил Кириллович накопил уже несколько папок газетных вырезок, в которых хотя бы только упоминалось слово «тарбаган». Вместе с ним мы перерыли горы книг по зоологии и географии, стараясь узнать побольше о повадках этих таких забавных на вид зверюшек. Неутомимый Хмара-Борщевский раскапывал в архивах КВЖД старые отчеты о всяких подозрительных вспышках заболеваний в окрестностях станции Маньчжурия.

Не хватало лишь одного, к сожалению самого главного: никто еще не поймал тарбагана, бесспорно заболевшего чумой. И нужны были прозорливость, упорство, мужество Заболотного, чтобы в таких трудных

обстоятельствах все-таки отстаивать свою гипотезу.

Но, как истинный ученый, Даниил Кириллович старался проверить и все другие возможные «хранилища» чумы в природе. Собственная гипотеза не стала для него опасными шорами, мешающими видеть то, что ей как будто противоречит. Он привлекает к исследованиям не только врачей и бактериологов, но и зоологов, физиологов, химиков, энтомологов. И опять, оставаясь верным своему излюбленному методу, многим дает параллельные задания, чтобы застраховаться от ошибок и поспешных выводов.

В окрестностях Харбина вдруг начался повальный падеж сорок. Может быть, это массовое заболевание птиц как-то связано с чумой? И немедленно специальный отряд отправляется в степь. К работе привлечены даже преподаватели зоологии из городских Гимназий. И Заболотный не успокаивается, пока не становится совершенно очевидным, что белохвостые сороки тоже никак не повинны в распространении чумы.

Охотясь за крысами, мы подбираем трупы павших собак и кошек. Всех их доставляют в лабораторию, вскрывают, берут пробы для анализов. Ни одна из проб не содержит микробов чумы.

Кажется, мы впустую топчемся на одном месте, ни на шаг не приближаясь к разгадке. Бессмысленная работа, а кругом каждый день погибают люди, во дворе чумной больницы под навесом лежат трупы, их не успевают отвозить за город, где днем и ночью чадно дымят огромные печи, устроенные прямо среди открытого поля. Неужели этому аду не будет конца?..

И, пожалуй, только Заболотный никогда не падает духом. Вернувшись с обхода в тесную дежурку, где усталые студенты и врачи жмутся к железной печурке, в которой едва мерцает угасающее пламя, Даниил Кириллович стряхивает снег с воротника, снимает калоши и подсаживается к нам.

— Великая вещь огонь, други мои! — говорит он, протягивая к печурке посиневшие руки. — Только что-то он у вас не ярко горит. Нет среди вас Прометея. Дров не привезли? И вы не знаете, что делать? Если позволите, готов дать совет. Даже стихотворный. Мне нынче не спалось, так я грешным делом вирши сочинил. Так и называются: «Прометей»...

Глядя в огонь, Даниил Кириллович начинает читать глуховатым, слегка запинаящимся голосом, по-украински мягко выговаривая слова:

*Шипят дрова сырые, дорогие,
Дымят поленья, слезы вызывая,*

*Дрожат конечности промерзшие, нагие...
Но надо жить, ничуть не унывая!*

*Порывом мощным я схватил охапку писем,
Стихов любовных полные тетради:
Я от природы буду независим,
Не уступлю в борьбе жестокой я ни пяди.*

*Дыханьем собственным раздул проворно кучу
Творений пламенных искусства и науки
И к искрам огненным простер могуче
Окочевевшие стопы и руки...*

И под общий смех Заболотный весьма наглядно показывает, как именно это следует делать. А в печурку уже летят старые газеты, обрывки бумаги, пачки ненужных писем. Пламя весело вспыхивает и победно гудит в трубе.

Вдруг дверь резко распаивается, обдав всех холодом и заставив обернуться. На пороге стоит доктор Б. М. Паллон. В руках у нее какой-то громоздкий и, видимо, тяжелый тюк. Кто-то бросается ей помогать, другой захлопывает дверь.

— Осторожнее! — кричит она. — Дайте я сама. Она начинает развязывать тюк. И вдруг из него выглядывает испуганное детское лицо. Раскосые глаза щурятся от яркого света, они вот-вот готовы заплакать, напуганные таким множеством склонившихся незнакомых лиц.

Развязан последний узел, — перед нами худенький мальчик лет шести в совершенно невероятных отрепьях.

— Я нашла его в фанзе, — рассказывает Паллон, торопливо развязывая башлык. — Там восемь трупов и он один живой. Прижался к матери и плачет, а она уже давно похолодела. Ужас!.. Неужели и он заразился?

Мы наперебой наливаем мальчонке чай, накладываем перед ним на блюдечко горку сахара, еще больше пугая его суетой.

— Оставьте хлопчика в покое, — решительно отстраняет нас Заболотный. — Немедленно теплую ванну, прививку, лохмотья его облить керосином и сжечь тут же во дворе.

— Я сама все сделаю, Даниил Кириллович, — говорит Паллон, — Ко мне он вроде уже привык немножко.

Она уносит ребенка, а мы тоже все отправляемся мыться. Комнату, где только что так уютно грелись у огонька, приходится срочно дезинфицировать: с чумой не шутят, это мы уже усвоили на веки вечные.

Целую неделю мы все беспокоимся за судьбу маленького Ян-Гуя. Даниил Кириллович, к которому он как-то сразу проникся доверием, сам проводит несколько анализов. Все пробы чисты. Кажется, мальчик действительно чудом не заразился.

— Но что же вы собираетесь с ним делать? — спрашивает Заболотный у Паллон.

Она неуверенно пожимает плечами.

— Пока не кончится эпидемия, проживет у меня.

Заболотный хмыкает и уходит. Потом возвращается, присев на корточки, долго смотрит, как Ян-Гуй с аппетитом уплетает кашу, задумчиво вздыхает, качает головой.

Так Даниил Кириллович мается несколько дней. А потом однажды вечером вдруг говорит мне:

— Знаешь что, решил я этого хлопчика увезти в Петербург. Усыновлю его, квартира у нас большая, в школу станет ходить. Ян-Гуй Заболотный — не плохо звучит, а? А то... был у нас с Милочкой свой хлопчик, да умер... Год только прожил, не уберегли... Трудно жили, голодно. Ты же помнишь...

И с грустной усмешкой, пожав плечами, он задумчиво добавляет:

— Вот тебе и эпидемия! Выходит, на ней не только терять, но и находить можно. Так-то, брат!..

Наступает март. Эпидемия начинает резко идти на спад. «Черная смерть», верная своей коварной природе, опять отступает, прячется, уходит в подполье. Куда? И надолго ли?..

В Мукдене открывается Международная противочумная конференция. Туда съезжаются крупнейшие светила со всего мира: Китазато из Японии, Галеоти из Италии, Петри из Англии, Стронг из Америки, — чтобы попробовать общими силами разобраться в загадках «черной смерти». Делегатом от России едет туда Даниил Кириллович, захватив с собой несколько членов экспедиции.

На конференции в Мукдене Заболотный сделал три доклада: о причинах эндемичности чумы в Маньчжурии, о результатах работы экспедиции и о предохранительных прививках. Гипотеза Заболотного о роли грызунов — «хранителей» чумы встретила возражения большинства делегатов, но все-таки по настоянию Даниила Кирилловича, пользовавшегося к тому времени уже громадным авторитетом, в решениях конференции удалось записать:

«Хотя и нет окончательного доказательства, что первые случаи этой эпидемии вызваны заражением от тарбаганов, однако весьма вероятно предположение, что тарбаганья болезнь тесно связана с легочной чумой в Маньчжурии, Забайкалье и северо-восточной Монголии, а также с последней вспышкой».

В другом пункте резолюции рекомендовалось России и Китаю, как самым заинтересованным странам, провести специальные исследования для проверки гипотезы Заболотного.

— Может, теперь-то удастся раскошелить наших чиновных толстосумов, — мечтал Заболотный, вернувшись из Мукдена.

Но именно эти пункты решения конференции, в которых так неопределенно и туманно упоминалось о связи чумной эпидемии с массовыми заболеваниями тарбаганов, вызвали переполох среди китайских, немецких, русских и английских меховых фабрикантов. И немедленно во многих газетах появились статьи с нападками на гипотезу Заболотного: «Не доказано, что тарбаганы заболевают чумой, опасной для человека!»

К маю эпидемия совсем затихла. В обнажившихся от снега полях вокруг Харбина подобраны и сожжены все трупы. Мы собираемся уезжать, навсегда оставляя на чумном кладбище, обнесенном высокой стеной, тридцать девять наших товарищей, сраженных «черной смертью». Кроме Марии Лебедевой, Льва Беляева, Анны Снежковой, Ильи Мамонтова и Владимира Михеля, мы потеряли за время эпидемии еще четверых фельдшеров, двадцать восемь санитаров и двух прачек.

Я хотел бы перечислить имена всех погибших, но список окажется слишком длинным...

Может быть, поэтому близкий отъезд не радует, словно вынужденное отступление после тяжелого боя.

И остается неясным, выиграли мы этот бой или потерпели поражение.

Эпидемия прекратилась, но велика ли в том наша заслуга? Конечно, своевременная изоляция больных, постоянный медицинский контроль спасли немало человеческих жизней. Но ведь, в сущности, это было наше единственное оружие. Мы только оборонялись, маневрировали, возводили защитные стены на пути «черной смерти».

Против легочной чумы прививки оказались совершенно бессильны. Они не спасли ни одного из заболевших. В самом Харбине погибло свыше пяти тысяч человек. Но ведь, пока мы боролись с ней здесь, «черная смерть» успела охватить всю Маньчжурию. Она прорвалась до Пекина и даже южнее.

Сорок четыре тысячи человеческих жизней унесла эта эпидемия, — так мы считали тогда, но последующие, более точные подсчеты заставляют повысить эту страшную цифру до шестидесяти тысяч, а по некоторым данным — даже до ста! И это за одну зиму!..

И никто по-прежнему не знает, надолго ли спряталась «черная смерть» и куда. Когда она снова вырвется на свободу?

А это необходимо знать заранее, иначе опять будет поздно и люди снова станут умирать тысячами, а мы окажемся бессильны им помочь. Опять военные оцепления, изоляционные бараки, прививки, которые никого не спасают, — неужели так будет продолжаться до бесконечности?..

— Забирайте Ян-Гуя и везите его в Питер, к Милочке, — сказал мне Заболотный.

— А вы?

— Я должен остаться. Я должен, черт возьми, найти хоть одного чумного тарбагана! Они уже сняты мне, будь трижды неладны! Наступает лето. Уже, по слухам, возле некоторых станций, как утверждает Хмара-Борщевский, замечены больные тарбаганы. Я задержусь.

Плотники по указаниям Даниила Кирилловича оборудовали в одном из вагонов походную лабораторию. Второй вагон весь заполнили клетками для тарбаганов, которых Заболотный собирался наловить и привезти в «Чумной форт».

Сборы приближались к концу. Уже уехали Златогоров и Падлевский. Наконец двинулись в дальнюю дорогу и мы.

Опять побежали за окном вагона лесистые сопки Маньчжурии, потянулась бескрайная степь. Только теперь она совсем иная, чем в морозном декабре, когда мы с Заболотным приехали сюда. Тогда ледяной ветер разгуливал над сугробами, а сейчас степь словно пылала от несметных тюльпанов и маков. И, не пугаясь поезда, к шуму которого они, видно, давно успели привыкнуть, повсюду из высокой травы выглядывали любопытные тарбаганы, долго смотрели нам вслед.

На станции Борзя, уже на русской территории, лабораторию на колесах отцепили от нашего состава. Вместе с Заболотным остались врач А. А. Чурилина и студент Военно-медицинской академии Л. М. Исаев — вот и вся экспедиция. Мы с маленьким Яном махали им из окна, пока бревенчатые станционные домики в расщелине угрюмых сопек, заросших до самых вершин кедровником, не скрылись за поворотом.

Мог ли кто из нас предполагать в тот миг, что замечательное открытие скоро сделает название этой никому неведомой станции Борзя известным всем бактериологам мира?!

И вдруг телеграмма — внезапная, словно молния при совершенно безоблачном небе:

«Прошу сообщить в редакцию журнала «Русский врач», что нашей экспедиции удалось поймать и наблюдать в течение нескольких часов больного тарбагана, вскрыть и исследовать его, причем бактериологически констатирована типичная септико-геморрагическая форма чумы с шейными бубонами. Из трупа получена чистая разводка с характерными признаками чумной палочки. Заболотный».

Как понимал я радостное нетерпение Заболотного! Еще бы: ведь враг, за которым он гонялся по всему свету вот уже полтора десятка лет, наконец пойман!

О том, как это произошло, мы узнали только после возвращения Даниила Кирилловича.

Но нельзя полагаться на память, когда рассказываешь о таком важном открытии: ведь впервые Заболотному удалось обнаружить природный очаг чумы, хранилище «черной смерти» вдали от людских поселений, среди диких степей. Поэтому я позволю себе привести довольно большую цитату из одной работы Даниила Кирилловича — его собственный рассказ об этом поистине историческом событии!

«Часть научной экспедиции по изучению чумы в Маньчжурии в составе студента Исаева, доктора Чурилиной и профессора Заболотного (обратите внимание, в каком порядке он перечисляет участников экспедиции, — в этом тоже проявился его характер!) отправилась на станцию Борзя с лабораторией и походным снаряжением. Из расспросов пограничников выяснилось, что в последнее время в разных местах видели по несколько штук павших тарбаганов. Розыски в указанных местах ни к чему не привели: павшие тарбаганы, очевидно, были съедены хищниками. Решено было повторно систематически объезжать местность для обследований. 12 июля студент Исаев увидел в степи верстах в трех от станции Шарасун (между станциями Борзя и Маньчжурия) больного тарбагана, который передвигался с трудом, шатаясь как пьяный. Исаев сошел с лошади, догнал его и, завернув в дождевой брезентовый плащ, доставил в лабораторный вагон на станции Борзя. Через полчаса тарбаган пал и тотчас же был вскрыт...

Заражение морских свинок, тарбаганов и мышей полученной чистой разводкой дало обычную картину чумы с характерными бубонами и бугорками во внутренних органах...

Исследование разводки на «Чумном форте» в Кронштадте и в Институте Пастера, куда она была послана, вполне подтвердило это

заключение».

Работая над этой книгой, мне захотелось узнать подробности поимки первого чумного тарбагана. И сообщил в письме Леонид Михайлович Исаев — в те далекие годы студент, а ныне один из крупнейших советских ученых, директор Института тропических болезней в Самарканде. Вот что он рассказал:

«...Даже Даниил Кириллович неточно передает события. Это верно, что экспедиция собиралась в ближайшее время закончить работу, но до погрузки было еще очень далеко. Конечно, в этот момент я не мог заметить плетущегося в степи тарбагана. Так близко к станции они не подходили. И поймал я тарбагана не у ст. Борзя, а в районе разъезда Сонакты, в сторону ст. Маньчжурия. И выделял культуру сам Даниил Кириллович на квартире железнодорожного врача, а не А. А. Чурилина. Она выделяла культуру от второго тарбагана, пойманного позднее. Все это делает время: оно изменяет, увеличивает или уменьшает. Нельзя ждать от воспоминаний точности протокола. Даниил Кириллович и здесь остается верен себе: в каких условиях вскрывал он тарбагана, выделяя культуру. Какому риску он подвергал себя в стремлении не потерять ни одного часа для решения проблемы, об этом он умалчивает, а говорит о заслугах других, увеличивая их несоответственно действительным размерам...»

«ЛЕТИ КАК ПТИЦА!»



Не успев даже заехать в Чеботарку, чтобы хоть немного отдохнуть после трудной битвы на сопках Маньчжурии, Даниил Кириллович в декабре все того же 1911 года уже спешит в Астрахань.

— Пора кончать с этой загадкой астраханских степей, — заявил он, вернувшись из Маньчжурии. — С дальним эндемичным очагом разобрались наконец. А тут чумное вогнище под самым боком. Можно ли с ним дальше мириться? В Астрахани сильный народ подобрался: Деминский со своими хлопцами, Клодницкий. Давайте им поможем развернуть наступление.

Загадка эндемичности чумы в Маньчжурии и монгольских степях разгадана. Точно и неопровержимо доказано, что «черную смерть» тут хранят в своих подземных норах тарбаганы. После отъезда Заболотного доктору Писемскому в тех же местах удалось обнаружить еще двух чумных тарбаганов, и Хмара-Борщевский отправил в степь специальную

экспедицию.

Теперь стало ясно, что «черная смерть» действительно может вдали от людских поселений, в тиши степей и лесов прятаться годами, выжидая удобного времени для нападения.

И ясно теперь, как с ней бороться, с чего начинать, чтобы предупредить эпидемию, не дать ей вырваться на волю: при малейших признаках массового заболевания среди тарбаганов надо высылать в степь противочумные отряды.

А в заволжских степях? С тех пор, как мы с Заболотным впервые побывали здесь на эпидемии во Владимировне, чума унесла тут почти тысячу шестьсот жизней — это лишь те, что стали известны врачам. А сколько еще людей наверняка погибло без всякой медицинской помощи в казахских аилах, затерянных в безбрежной степи, в землянках на отдаленных хуторах?..

— Теперь, после поимки чумного тарбагана, я совершенно уверен, что здесь чуму могут хранить только суслики, — говорит Заболотный.

Но и этот предполагаемый «вор» пока не пойман, не уличен с поличным. Совсем недавно, минувшим летом, через все астраханские степи прошла большая экспедиция Ильи Ильича Мечникова. Ее сотрудники специально ловили сусликов, тушканчиков, полевых мышей, — и опять ни одного случая заражения чумой!

Совещание, созванное Даниилом Кирилловичем по приезде в Астрахань, было немногочисленным. В небольшой комнате собрались старые и закаленные бойцы: все такой же тихий, спокойный, рассудительный Ипполит Александрович Деминский, совсем не изменившийся внешне за те полтора десятка лет, как мы с ним впервые познакомились на зимней ночной дороге у околицы Владимировки; приехавший с нами из Петербурга участник маньчжурской эпопеи Г. С. Кулеша, опытный бактериолог И. И. Шукевич. Понимали все друг друга с полуслова. Доклад был кратким и деловитым.

— Всякая комиссия, имеющая целью борьбу с эпидемией, должна основываться на данных, выясненных практикой и выработанных наукой, — так начал Даниил Кириллович. — За последнее время получен целый ряд практических и научных указаний как в отношении эпидемиологии чумы, так и способов борьбы с нею...

Чтобы ни один случай чумного заболевания не прошел мимо ученых, Заболотный предложил снабдить каждого медика, отправляющегося в степь, специальными анкетными карточками. Вопросы для них он разработал еще в Петербурге. Одна из карточек специально отводилась для

точных сведений о всех грызунах, встречающихся в тех местах, где работает врач.

Даниил Кириллович даже предусмотрел, какой формы должны быть банки для пересылки в лабораторию пойманных сусликов, и торжественно продемонстрировал образец участникам совещания.

— Вот это исследователь! — восхищенно шепнул мне сидевший рядом Деминский. — Учусь, учусь у Даниила Кирилловича, и все равно каждый раз он меня чем-нибудь удивит...

Было решено, кроме Центральной астраханской лаборатории, устроить еще две — одну в Новой Казанке под руководством Шукевича, а вторую в самом центре отдаленного степного края, в Уш-Тагане, соединив ее телефоном и телеграфом с Ханской Ставкой, как тогда по старинке называлась Урда.

Да, начиналось настоящее, решающее наступление — это мы чувствовали все.

На одном из последних заседаний, когда Деминский в перерыве беседовал с Заболотныйш, к Ипполиту Александровичу вдруг подошел лабораторный служитель. Он, видимо, давно ждал в коридоре: снег у него на воротнике успел растаять.

— Так что, Ипполит Александрович, извините за беспокойство. Но вы сами велели... где бы, дескать, ни находились... Весточка вам из степи.

— Откуда? — спросил Деминский, принимая у него конверт, на котором ничего не было написано.

— Из Новой Казанки гонец привез.

— Да это разве письмо? — изумился Заболотный, увидев, что Деминский вынимает из конверта небольшой клочок чистой бумаги, почему-то проткнутый гусиным пером.

Я потряс конверт: больше в нем ничего не было.

— А это наше изобретение. Не все вам, столичным гостям, нас поражать, — довольный нашим удивлением, произнес Деминский. — Народ в аилах и на дальних хуторах сплошь неграмотный. Как им нас известить в случае чумной вспышки? Голь, говорится, на выдумки хитра. Вот мы и придумали общими силами такую первобытную почту — без слов.

— И что же это послание означает?

— Дело плохо, чума пришла, и, выражаясь метафорически, призыв к врачу: «Лети как птица!»

— Ловко! — обрадовался Даниил Кириллович. — Подумайте, господа, какие молодцы! И как романтично, красиво!

Но тут же он помрачнел.

— Откуда, говорите, гонец?

— Из Новой Казанки, где мы как раз наметили лабораторию открыть. Очень тяжелый район.

— Значит, там вспышка?

— Да.

— Надо ехать туда! — решительно сказал Заболотный. — А то, пока мы тут совещаемся, она ведь не дремлет. — И он махнул рукой.

У Деминского была простуда, но он все-таки хотел поехать с нами. Заболотный категорически воспротивился. Мы отправились в степь с доктором Шукевичем, которому как раз предстояло возглавить борьбу на этом участке.

До Новой Казанки от Астрахани насчитывалось свыше трехсот верст, да и то «степных, немереных», как сказал нам Шукевич. И все это по однообразной, занесенной снегом, метельной степи, — как наш веселый ямщик, то и дело принимавшийся распевать старинные казачьи песни, ухитрялся находить верную дорогу, мы с Заболотным так и не поняли.

А казахские айлы, где объявилась чума, были разбросаны по степи еще на добрую сотню верст во все стороны от Новой Казанки. Добираться до них пришлось в плетеной из прутьев кошевке, которую медлительно волочил по сугробам старый, облезлый верблюд. Такое путешествие со скоростью черепахи в конце концов вывело из душевного равновесия нетерпеливого Даниила Кирилловича, и он решительно потребовал, чтобы мы пересели на лошадей.

Закутавшись в тулупы и кое-как, бочком, пристроившись в неудобных деревянных седлах, мы ездили из айла в аил. Такой страшной картины нищеты и повальной бедности мы еще не видели нигде, даже в Индии. Там хоть было тепло, а здесь больные валялись в промерзших насквозь дырявых кибитках. За ними никто не ухаживал. Их сторонились даже родственники, запуганные вековым горьким опытом бесчисленных эпидемий.

Повсюду вши, блохи. Самые бедные жили и умирали даже не в кибитках, а в ужасных норах, вырытых прямо в промерзлой земле. Когда мы осматривали умирающую казашку в одной из таких землянок, то увидели, что у нее, еще дышавшей, пальцы уже обледенели...

И всюду: в погребах, прямо в землянках, обложенных для теплоты стогами сухого кумарчика — дикой степной травы, — гнездились мыши. А вокруг каждого айла петляли по сугробам цепочки сусличьих следов: видно, не все зверьки впадали в спячку. Они продолжали выбираться на

поверхность земли и зимой.

Укутанная снегами степь надежно хранила свои тайны. До наступления весны нечего было и думать заниматься здесь какими бы то ни было исследованиями. Оставив в степи Шукевича с местными врачами, мы решили возвращаться в Астрахань, а потом домой, в Петербург.

На обратном долгом пути по пустынной и мертвой степи произошел у нас как-то с Даниилом Кирилловичем любопытный разговор, запавший мне в душу.

Однажды, когда солнце уже садилось, а до ближайшего жилья было еще далеко и я устало дремал, завернувшись с головой в лохматый тулуп, Заболотный вдруг начал меня расталкивать.

— Полюбуйтесь, какой изумительный закат! — восторженно сказал он. — Снег словно горит, а над ним зеленая полоса. Просто чудо!

Он привстает в санях, протягивая руку к закату:

*Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.*

Ямщик испуганно оглядывается на него.

— Тютчев, поэт такой был, — виновато поясняет Заболотный. — Хорошие стихи писал.

Усталому и замерзшему, мне было вовсе не до поэзии и красот природы. Одолевали невеселые мысли, и я, может быть резковато, обрезал Заболотного:

— Тютчев, Пушкин, Гейне... Вам бы сюда Клодницкого, он тоже все стишки декламирует да и сам сочиняет: «Нет конца стремлениям, жизни есть предел...» Сколько лет я вас уже знаю, а признаться, не понимаю подобного увлечения. На что все это медику? Наше дело трупы резать, сусликов травить — какая уж тут поэзия!..

— Да, давно я это за вами замечаю, что не интересуетесь вы ни литературой, ни музыкой. И давно хотел поговорить с вами об этом, — очень серьезно и с какой-то грустью проговорил Заболотный. — «Нет конца стремлениям, жизни есть предел», — это ведь Николай Николаевич очень верно сказал, напрасно вы иронизируете. Вы ужасно обкрадываете свою жизнь, делаете ее такой куцей, однобокой, серой. Мы с вами выбрали нелегкую профессию, все время видим человеческое горе, кровь и грязь

кругом. Тем более должно вас тянуть к поэзии, красоте...

— Ну, мы с вами материалисты, лягушатники, воспитывались на Писареве...

— А откуда это повелось среди медиков прикрываться Писаревым? С чего вы взяли, что он был черствый, сухой человек, чуждый поэзии? Только из того, что так страстно пропагандировал естественные науки? А как он замечательно сказал о Рахметове? Я помню наизусть еще с юношеских лет: «Вся его работа клонится только к одной цели: уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений». В том числе и наслаждений музыкой, поэзией, красотой природы, разумеется. А как он сам умел наслаждаться поэзией, красотой жизни, как он умел мечтать! Об этом вы забыли?

— Ну, не один Писарев. Вот и Дарвин...

— Что Дарвин? — перебил меня Заболотный, распахивая мешавший ему тулуп. — Вот вы помянули Дарвина, добре. А знаете, что я вычитал у старика недавно в автобиографии? Там он признается, что постепенно как-то разучился наслаждаться произведениями искусства и под старость эстетическое чувство у него совсем атрофировалось...

— Вот видите...

Но Даниил Кириллович даже замахнулся на меня.

— И вы знаете, как он оценил это омертвление чувств? — почти выкрикнул он.

— Как?

— Он назвал его равносильным утрате счастья. Понятно? Дарвин!.. Не нам с вами чета. — И он патетическим жестом поднял руку к небу, залитому кровью заката, совсем как неистовая боярыня Морозова на суриковской картине...

Вернувшись в Петербург, мы с надеждой ждали прихода весны и новостей из Астрахани. Но первые вести опять оказались неутешительными. Весной специальные отряды изъездили всю степь вокруг Новой Казанки, обследовали около трех тысяч землянок, — и не нашли ни одного суслика, ни единой полевой мыши или тушканчика, заболевших чумой.

— Прямо наваждение какое-то! — выходил из себя Заболотный. — Как говорится в одной старинной комедии: «Та тут чудасия, мосьпане!»

Он порывался сам поехать в Астрахань и отправиться в степь на ловлю сусликов. Но не пускали институтские дела. Драконовский режим, который установил в институтах тогдашний министр просвещения Кассо, стал совершенно невыносимым. По всей России опять прошла волна

студенческих забастовок.

Даниил Кириллович принимал их близко к сердцу. Рассказывали, будто он даже сам подбивал студентов не ходить на занятия и, уж конечно, щедро помогал им во время забастовки: деньги у него таинственно «испарялись» в это время уже в день получки.

Такое открытое сочувствие студентам не могло! не привлечь внимания высокого начальства. И действительно, гром не замедлил грянуть.

Когда я зашел однажды к Заболотному, то случайно увидел у него на письменном столе большой лист роскошной мелованной бумаги с грифом самого министра просвещения. Перехватив мой любопытный взгляд, Даниил Кириллович засмеялся.

— Сам Кассо пишет. Вручили мне для ознакомления. — И он дал мне прочесть этот любопытный документ.

«Милостивый государь Александр Александрович!

По полученным в министерстве сведениям, во время происходившей в текущем учебном году в Женском медицинском институте забастовки профессор Заболотный, застав однажды в своей аудитории только одну слушательницу, отказался читать лекцию, причем даже сделал слушательнице выговор. Спустя несколько дней на лекцию профессора Заболотного собрались в соответствующее время пять курсисток, а когда профессор явился в аудиторию, то в резкой форме выразил свое неудовольствие по поводу того, что они самовольно нарушают принятое курсистками постановление о забастовке. Когда вслед за тем профессор Заболотный, намереваясь покинуть аудиторию, направился к выходу, то был остановлен одной из слушательниц, которая и обратилась к нему с просьбой исполнить возложенные на него, как профессора, обязанности, за уклонение от которых он должен подлежать ответственности. Однако это обращение не только оказалось безрезультатным, но вызвало со стороны профессора некоторое глумление по отношению к слушательницам.

Вследствие сего прошу Ваше Превосходительство донести мне в возможно скорейшем времени, соответствуют ли указанные сведения действительности.

Примите уверения в искреннем почтении и преданности...»

И размашистая, замысловатая подпись.

— Что же вы собираетесь делать?

— А ничего! — задорно ответил Заболотный. — Пусть попробуют меня тронуть. А выгонят, уеду к Мечникову в Париж. Или к Деминскому в степи.

Он собирался разорвать письмо, но я остановил его.

— Такой документ надо сохранить для истории.

— Разве что для истории, — засмеялся Заболотный, небрежно заталкивая министерскую бумагу куда-то в нижний ящик стола.

Опять Даниил Кириллович стал часто приезжать к нам в «Чумной форт», — «прятаться под сенью крепостных стен», шутил он. Как было намечено на астраханском совещании, одну из лабораторий форта спешно переоборудовали специально для научного исследования материалов, которые должны были поступать из заволжских степей.

Лаборатория была готова, но никаких материалов пока не прибывало. Осенью Клодницкий сообщил нам, что в двух селах, Рахинке и Заветном, опять началась эпидемия чумы. «Мы с доктором Демянским выезжаем туда, — писал он, — и лично проследим, чтобы все собранные материалы незамедлительно отправлялись к Вам в лабораторию».

— Ну, кажется, разгадка близка, — сказал Заболотный, потирая руки.

Да, разгадку эндемичности «черной смерти» в заволжских степях уже держали в своих руках исследователи. Но узнали мы об этом трагическим образом...

Когда через несколько дней Даниил Кириллович снова приехал ранним сереньким утром к нам в форт, я перепугался. Он сгорбился, был молчалив и печален, словно сразу постарел лет на десять. Ни обычных шуток, ни улыбки в глазах.

— Что с вами, Даниил Кириллович? Вы не заболели?

Вместо ответа он молча протянул мне конверт из плотной серой бумаги, а сам сел на скамейку и, сняв фуражку, смотрел, как ветер обрывает последние желтые листья с чахлых деревьев на крепостном дворе.

Письмо было из Астрахани, от Клодницкого. Я заглянул в конверт. В нем почему-то лежал зеленоватый телеграфный бланк. Ничего не понимая, я вынул его и прочел:

«Джаныбек, д-ру Клодницкому.

Я заразился от сусликов легочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное все расскажет лаборатория. Труп мой вскройте как случай экспериментального заражения человека от сусликов. Прощайте.

Деминский».

Так вот в каком облике пришла к нам долгожданная весть!..

Дорогой, кровавой ценой дается победа. И скольким еще суждено вот так упасть на пути!..

— Как это произошло? — спросил я Заболотного.

— Не знаю. Клодницкий приложил только коротенькую записочку, я ее оставил дома... Продолжают исследования, вот и все.

Работать в этот день мы не могли. Я проводил Даниила Кирилловича до Кронштадта.

Сутулясь, тяжело опираясь на зонтик, Заболотный шел медленно, совсем по-стариковски шаркая подошвами. В пустынном скверике, заваленном опавшими листьями, он остановился возле гранитного обелиска со старинной медицинской эмблемой на верхушке: змея, обвившая чашу. Это был памятник умершему в прошлом году Василию Исаевичу Исаеву, с которым так часто и увлеченно спорили мы еще недавно за чашкой вечернего чая в сумрачных казематах «Чумного форта». На сером граните сияли новенькие, еще не успевшие потускнеть, золотые буквы: «Врачу, ученому, администратору, общественному деятелю».

— Редуют наши ряды, редуют... — тихо проговорил Заболотный. — Исаев так и не дожил... Нынче весной — Высокович, теперь — Деминский.

А я думал о том, что давно бы следовало медикам заменить эту никому не понятную и даже, пожалуй, пугающую эмблему. Вместо зловещей змеи гораздо больше подошла бы пылающая свеча, как предлагал кто-то из бактериологов, а под ней — лаконичная надпись: «Светя другим — сгораю...»

Мы обошли памятник. На другой грани обелиска сверкали только два слова — любимый завет Исаева: «Спешите трудиться...»

...Через неделю мы с Заболотным уже ехали в Астрахань. На вокзале нас встретил усталый, сумрачный Клодницкий.

— Как он умер? — прежде всего спросил Заболотный.

— Мне сообщили о его болезни седьмого октября, я тогда был на станции Джаныбек. Выехал в тот же день, но опоздал, дожди размыли все дороги. Последние лабораторные записи были сделаны шестого. В этот день Деминский почувствовал себя плохо, сам ночью пошел в лабораторию и' сделал анализ...

— А умер?

— Девятого, в восемь тридцать пять утра. Он ушел от нас не один. —

Клодницкий откашлялся: ему перехватило горло. — Заразилась и умерла медичка Московского женского частного института Елена Меркурьевна Красильникова. Вызвалась ухаживать за ним и...

В лаборатории Клодницкий показал нам последнее письмо от Деминского из Рахинки.

«Подозрительные культуры, полученные мною от сусликов и тушканчиков, так и остаются подозрительными. Есть хорошие цепочки, ясная полюсность, но слаба вирулентность... Не знаю, что выйдет. Жалею, что не вместе с Вами работаю, так дело пошло бы ходчее. При всем этом жить здесь порядком надоело. Пора бы и по домам. До свидания, жму руку и желаю получить от грызунов на свою долю...»

— Двадцать седьмого сентября, — угрюмо сказал Клодницкий. — Когда он писал это, возможно, уже был заражен. Остались четыре дочери и вдова...

Потом мы смотрели добытые такой страшной ценой культуры. В капельке на предметном стекле отчетливо сверкали неподвижные прозрачные палочки с окрашенными утолщениями на концах. Типичные, бесспорные чумные палочки, впервые в истории добытые из тушки павшего степного суслика.

Но это открытие не радовало нас. Ведь именно эти, такие невинные на вид, крошечные существа, так быстро расплодившиеся на сытном агаровом студне, убили нашего товарища, талантливого, отважного человека...

Они живут и размножаются во славу науки, а Ипполита Александровича Деминского больше нет...

Но фронт врага прорван, наступление продолжается! Теперь уже нам привозят гонцы письма без слов, пронзенные птичьим пером. И мы мчимся быстрее птицы в дальние аилы, куда нагрянула беда. Один за другим уходят в степь противочумные отряды.

Через полмесяца Николаю Николаевичу Клодницкому удастся поймать в одном из селений, пораженном чумой, второго заболевшего суслика. А начиная с весны 1913 года их обнаруживают почти каждый месяц.

Странствующие по степи отряды привозят все новые и новые открытия. Установлено, что хранить чумную заразу могут и полевые мыши, тысячами гнездящиеся в стогах вокруг каждого селения. Доктор Шукевич выделяет чумные палочки из мяса павшего верблюда, — оказывается, и эти животные могут распространять «черную смерть».

Одной из талантливейших учениц Заболотного, Анне Андреевне Чурилиной, работавшей с ним в Харбине, удалось сделать чрезвычайно важное наблюдение: оказывается, у спящих сусликов развитие болезни

замедляется, затягивается порой до пяти месяцев. Потом чума снова набирает силу только после их пробуждения от зимней спячки. Вот почему чума так живуча, когда ее хранят в себе грызуны!

Даниил Кириллович буквально завален материалами, поступающими в «Чумной форт» для обработки. Можно подводить итоги борьбы и исканий, растянувшихся на полтора десятилетия.

Сложная и запутанная картина развития чумы в ее эндемических очагах становится теперь ясной: «черная смерть» — это болезнь грызунов. Именно там, в подземных норах мышей, крыс, сусликов и тарбаганов, она может таиться годами и десятилетиями. Если изолировать, уничтожить эти природные очаги чумы, эпидемии среди людей навсегда прекратятся. «Черная смерть» будет стерта с лица земли.

Научная сторона вопроса решена. Теперь нужно действовать — устраивать противочумные станции в опасных районах, высылать в степь отряды, бдительно следить за малейшими вспышками подозрительных заболеваний среди степных грызунов, чтобы сразу, в самом начале, закрывать «черной смерти» дорогу к селениям и городам.

— Помяни мое слово: еще несколько лет — и мы навсегда покончим с чумой! — говорит мне Заболотный, молодо сверкая глазами. — Вот наша terminus ad quem!^[5]

Но дальнейшее наступление на коварного врага, затаившегося в степях, обрывает война...

ДВАЖДЫ ВОСКРЕСШИЙ



Началась мировая война, и для нас, медиков, наступило горячее время. Тысячами погибали люди на фронте — от ран, от столбняка и гангрены. А в тылу выползли на свободу тиф, дизентерия, холера, оспа и, конечно, чума. От них людей в тылу погибало раз в пять, а то и в шесть больше, чем в окопах от ран.

Война надолго нас разлучила и разбросала по Разным фронтам. Встречались мы с Заболотным в эти годы урывками, очень редко. Увиделись в декабре 1914 года в Москве на совещании бактериологов. Даниил Кириллович был председателем и делал доклад о своих работах по брюшному тифу. Поговорили мы только несколько минут в перерыве и разъехались: я на Западный фронт, он — на Кавказский.

Потом, года через полтора, по причуде прихотливой военной судьбы мы вдруг совершенно случайно встретились на какой-то станции возле Киева, забитой солдатскими эшелонами. Даниил Кириллович прямо на

перроне рассказал мне, что успел побывать и на Галицийском фронте и на Северном, работал на эпидемиях и холеры и тифа, расспрашивал о моих военных скитаниях.

Неожиданно нашу беседу прервал какой-то юнец в форме вольноопределяющегося. Козырнув и прищелкнув каблуками, он попросил у Заболотного разрешения купить в буфете бутерброды.

Не сразу мы очнулись и сообразили, что идет война, кругом снуют солдаты и по уставу им полагается посещать буфет только по разрешению старшего из присутствующих военных чинов. Заболотный и оказался самым старшим по званию на перроне.

Поняв, в чем дело, он смущенно и совсем по-штатски сказал солдату:

— Пожалуйста, голубчик, кушайте на здоровье. Мы продолжали бессвязную, торопливую беседу, как вдруг наше внимание привлек громкий шум в буфете. Мы оглянулись.

В дверях буфета стоял какой-то усатый генерал и зычным голосом на весь перрон распекал только что подходившего к нам солдата.

— Кто вам разрешил войти в буфет, где находятся офицеры? — бушевал генерал.

Перепуганный «вольнопер» показал на Заболотного. Тогда генерал напустился на Даниила Кирилловича:

— Какое, милостивый государь, вы имели право давать разрешение, когда здесь есть чины повыше вас? Кто вы такой? Какой части?

— Я профессор Заболотный, — тихо ответил Даниил Кириллович.

Выражение начальственного гнева на генеральской роже сразу переменилось на умиленно-восторженное.

— Батюшки, профессор!.. — почти пропел он, разводя руками. — Как же я вас не узнал! Ведь я специально сюда приехал вас встречать. Машина ждет.

Заболотный жалобно посмотрел на меня, порывисто обнял, пробормотал:

— Ну, до побачення! Береги себя, хлопче! — и понуро поплелся за генералом, предупредительно расчищавшим ему дорогу.

Проходя мимо солдата, все еще стоявшего навтыжку, Даниил Кириллович вдруг остановился и сказал:

— Идите теперь, голубчик, и покупайте, что вам нужно. Идите! — и озорно, по-мальчишески подмигнул мне на прощание.

Поразительно, как даже в такой обстановке Заболотный ухитрился заниматься научной работой, особенно изучением сыпняка — «военного тифа», как мы его называем. Интереснейшие его статьи об этих

исследованиях попадались мне в те годы то в одном медицинском журнале, то в другом.

А из письма старого приятеля — сельского врача вдруг узнаешь, что у них, в каком-то заброшенном и никому не известном украинском местечке Любень Вельский, прибывший туда с воинской частью «известный тебе профессор Заболотный» успел устроить нечто вроде детского дома для сирот-беженцев.

Руководил всей санитарной службой во время войны окончательно уже выживший из ума все тот же принц Ольденбургский — о «медицинских изысканиях» его я уже рассказывал. Он рассылал по госпиталям сумасбродных инспекторов, под стать себе.

Один из таких самодуров случайно снова свел меня с Даниилом Кирилловичем на дорогах войны.

Произошло это уже в конце войны, в Риге, незадолго до того, как нашим войскам пришлось временно оставить город. Я приехал с фронта по вызову инспектора, который оказался высоким поджарым генералом, подслеповатым и к тому же глухим на одно ухо. Узнав об этом дефекте, я весьма бойко пробарабанил свой рапорт, встав нарочно со стороны глухого уха. Генерал ничего не расслышал толком, но милостиво покивал. Я уже собирался благополучно откланяться и поспешить обратно в часть, как вдруг он заявил, что едет сейчас ревизовать госпиталь и приказывает мне сопровождать его.

— Вам будет это полезно, молодой человек.

По госпитальной лестнице я поднимался вслед за генералом в полнейшем бешенстве. И вдруг — представьте мою радость! — среди врачей, торжественно вышедших нас встречать, увидел Заболотного.

Оказалось, что он здесь консультирует палату с инфекционными больными. Но мы успели перекинуться только несколькими фразами.

Генералу представили Заболотного, и они вместе стали обходить палаты. В одной из них все задержались. Палата прямо сверкала чистотой, на каждом столике стояли цветы.

— Это все она, ваше превосходительство, — сказал один из раненых, показывая забинтованной рукой на совсем юную девушку в косынке сестры милосердия, скромно стоявшую в дальнем углу.

— Спасибо ей, ухаживает прямо словно сестра родная! — раздался слабый голос откуда-то с дальней койки.

Даниил Кириллович подошел к раскрасневшейся девушке, поблагодарил ее и крепко пожал руку. Девушка пролепетала что-то полатышски и сделал книксен.

Примеру Заболотного последовал и генерал. Когда вышли из палаты, он громко высморкался в огромный платок, на котором был вышит голубок с веточкой в клюве, и внушительно сказал:

— Хвалю! Как фамилия этой милой сестры милосердия?

— Санитарка Эдлис, ваше превосходительство» подсказал кто-то из врачей.

— Как санитарка? А почему же на ней сестринская косынка?

— Наверное, не было другой под руками, — пожимая плечами, ответил Заболотный.

— Что значит не было? Выходит, это я простой санитарке руку подавал! — загремел генерал на весь коридор. — Вы меня ввели в заблуждение, стыдно, профессор! Потрудитесь объявить ей выговор за нарушение субординации.

— Хорошо, ваше превосходительство, я сейчас же сделаю это лично, — ответил Заболотный.

Генерал со своей свитой проследовал дальше, а Даниил Кириллович вернулся в палату.

Я заглянул в приоткрытую дверь. Заболотный подошел к девушке, с красными пятнами на лице прислушивавшейся к шуму в коридоре, и сказал:

— Генерал просил еще раз поблагодарить вас, Хелли. Спасибо, голубушка!

И он низко склонил перед ней седую голову. А выйдя в коридор и увидев меня, вздохнул:

— Вот так мы и работаем...

Я задержался на два часа, и мы провели их с Заболотный, беседуя за горячим ароматным чайком в его комнатке, под недалекий грохот немецких пушек.

Потом мне рассказывали, что, заняв Ригу, немцы повсюду разыскивали профессора Заболотного, надеясь, видно, увезти его в Германию в качестве «почетного трофея». Но Даниил Кириллович, к счастью, уже был в то время в Пскове, распределяя свои противоэпидемические отряды и походные лаборатории по новым участкам фронта.

Снова встретились мы с Заболотный только в Петрограде, уже после Октябрьской революции.

Он принял ее сразу, не раздумывая, и мог бы сказать словами поэта: «Моя революция». Многие медики, особенно «столичные», поначалу саботировали, и в журнале «Общественный врач» был даже заведен специальный раздел «Врачи в стане большевиков» — из проклятий и

грязных сплетен вперемежку.

А Даниил Кириллович с первых же дней революции стал служить ей, как говорится, не за страх, а за совесть.

В январе 1918 года он организовал в Институте экспериментальной медицины новый эпидемиологический отдел и сам возглавил его.

Весной 1918 года в истощенном, измученном Петрограде началась холера. Заболевало до семисот человек в день, и первое время не успевали убирать с улиц трупы. Заболотный сам, не ожидая, когда его позовут, пришел на заседание Петроградского Совета и сделал доклад о неотложных мерах, которые, по его мнению, следовало провести для борьбы с холерой.

Ох, какой страшный вой поднялся после этого выступления в некоторых «ученых» кругах!

Когда я зашел как-то в те дни к Даниилу Кирилловичу, он, не успев я раздеться, сунул мне в руки помятое письмо.

— Хочешь посмеяться?

«Профессору Д. К. Заболотному. 21 августа 1918 года», — было написано щеголеватым, писарским почерком.

«Милостивый государь, Даниил Кириллович!»

Под впечатлением Вашего выступления в Совдепе я послал в редакцию газеты «Наш Век» письмо. К сожалению, редакция не решилась, по-видимому, его напечатать, а затем все буржуазные газеты были закрыты. Ввиду этого позволю себе лично обратиться к Вам с просьбой: не признаете ли Вы возможным дать необходимые разъяснения не только мне лично, но и другим, уважающим Вас лицам через посредство того или другого общественного собрания, перед которым Вы могли бы объяснить свое неожиданное выступление в Совдеце? Полагаю, что это необходимо в интересах поддержания авторитета той, действительно настоящей науки, одним из известных представителей которой Вы всегда были.

С почтением

адъюнкт-профессор, инженер...»

— А подпись-то нарочно неразборчиво вывел, закорючка какая-то, — насмешливо сказал Заболотный. — Попробуй ты разобрать, у тебя глаза помоложе.

— И охоты нет. Что же вы ему отвечать собираетесь?

— И не подумаю. «Наш век»... Кончился ваш век, господа хорошие! — бормотал Заболотный, все еще пытаюсь разобрать подпись. — «Неожиданное выступление в Совдепе»... Да, может, я к нему всю жизнь готовился!

Выступление Заболотного в Петроградском Совете стало своего рода историческим: именно после него многие честные, преданные народу врачи и ученые активно взялись за работу.

Четырнадцать держав пытались задушить в огненном кольце фронтов молодую Советскую республику. Под Нарвой и Псковом — немцы. Правительство вынуждено переехать в Москву. Страну душит голод. В Тамбове восстали левые эсеры. В Мурманске — английский десант, американские войска заняли Архангельск.

В голодных селах и городах косят людей болезни. В Москве — тиф, в Астрахани — чума, в Саратове-черная оспа. По самым осторожным подсчетам, в 1918–1921 годах у нас в стране переболело не менее 25 миллионов человек! В газетах проскакивают статьи под зловещими заголовками вроде «Быть Петрограду пусту»:

«Быть Петрограду пусту» — таково крылатое слово, вновь, после двухвекового перерыва, пущенное в обращение одной Петроградской газетой несколько месяцев назад. Судя по переписи Петроградского населения 2 июня текущего 1918 года, пророчество это, по-видимому, сбывается...»

Выступая с докладом на VII Всероссийском съезде Советов, Ленин с потрясающей прямоотой, ничего не утаивая, говорит о тех нечеловеческих испытаниях, которые переживает страна:

— И третий бич на нас еще надвигается — *вошь, сыпной тиф*, который косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе того ужаса, который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, когда население обессилено, нет материальных средств, — всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: «Товарищи, все внимание этому вопросу. *Или вши побеждают социализм, или социализм победит вшей!*»

Вот так стоял тогда вопрос.

И Заболотный высмеивает нытиков, терпеливо уговаривает перепуганных маловеров, создает эпидемиологические отряды и рассылает их во все концы России, сам едет и в Астрахань, и в Самару, и на фронт, своими руками готовит вакцину и сам делает прививки. В Петрограде он возглавляет всю борьбу с холерой, и ему даже присваивают довольно

странное и необычное, но вполне в духе того незабываемого времени звание «Холерного Диктатора»...

Некоторые из знакомых Заболотного убежали за границу. Они зовут его туда и удивляются, что он отказывается: «Все из России пишут о голоде, о холоде, об отсутствии хлеба, яиц и про очереди, а Вы... Вы — про цветы».

Это письмо, присланное Заболотному из Америки одной сбежавшей его знакомой художницей, я нашел, перебирая недавно архив Даниила Кирилловича, — и сразу нахлынули воспоминания тех лет...

Видимся мы с ним опять урывками, на бегу и порой в совсем неожиданных местах. То я застаю его в пустынном и нетопленном зале Публичной библиотеки, где он, дуя на замерзшие, негнущиеся пальцы, точно студент, делает выписки из толстенных фолиантов.

— Понимаешь, друже, Василий Леонидович Омелянский попросил подготовить материал насчет роли микробов для увеличения плодородия почвы. Ленин этим очень заинтересовался, Владимир Ильич...

В голодном, лишенном света, замерзшем Петрограде открывается «Свободная ассоциация положительных наук». Выступает с докладом Горький. А в президиуме, склонив набок седую голову, — я вдруг вижу — сидит и внимательно слушает Даниил Кириллович. Когда он успевает, словно волшебник, бывать всюду?!

В это удивительное время Заболотный очень подружился с Горьким. Не знаю, когда именно они познакомились, но помню, что Даниил Кириллович часто заходил к Горькому, улучив свободный вечер, рассказывал ему о своей работе и путешествиях, заводил споры на литературные темы.

Жизнь в Петрограде, у самых ворот которого гроыхала немецкая артиллерия, становилась все тяжелее. От постоянного недоедания у Людмилы Владиславовны, жены Заболотного, обострился застарелый туберкулез. Похудел, изголодался и Ян-Гуй Данилович. Даниил Кириллович решил отвезти их в родную Чеботарку. Это было опасное предприятие, потому что Украина тоже вся полыхала в огне гражданской войны, поезда ходили с перебоями; их то и дело задерживали в пути бесчисленные банды.

Но другого выхода не было. Только переезд в деревню, где она могла бы хоть немного подкормиться, спас бы Людмилу Владиславовну. Остаться в таком тяжелом состоянии в Петрограде для нее означало верную и быструю смерть.

Осенним утром я проводил Даниила Кирилловича с женой и

закутанным до самых глаз Янчиком на вокзал. С ними поехала и домашняя работница Катя, — вела она хозяйство у Заболотных уже много лет, все мы привыкли ее звать просто по имени, и отчества ее я так и не знал.

Грязный, обшарпанный состав, в котором пассажирские вагоны были прицеплены вперемежку с полуразбитыми теплушками, медленно отошел от перрона. И острая боль сжала мне сердце: «Когда увижу я снова Даниила Кирилловича?..»

Мои мрачные предчувствия оказались не пустыми. Вскоре прошел слух о смерти Людмилы Владиславовны. Она якобы так и не доехала до Чеботарки. А потом по всему Петрограду разнеслась весть, что умер будто бы и Даниил Кириллович. Одни утверждали, что он скончался тоже в поезде, заразившись сыпняком; по другим слухам, его убили бандиты.

Все, кто знал Заболотного всегда таким веселым, деятельным, энергичным, не хотели, не могли верить этим слухам. И вдруг в газетах промелькнула коротенькая телеграмма. В ней подтверждалось, что Даниил Кириллович действительно убит «в своем имении под Нежином». Это мифическое имение заставляло насторожиться, и я все-таки никак не хотел примириться с горькой мыслью, что Заболотного больше нет.

Но все надежды окончательно рухнули, когда я получил ноябрьский номер журнала «Общественный врач» и на первой странице прочитал некролог, написанный профессором Диатроповым...

«Памяти Д. К. Заболотного.»

Недели две тому назад в Москве было получено частное известие о том, что на Украине убит Даниил Кириллович Заболотный. Затем появилась краткая телеграмма Роста об убийстве Д. К. Заболотного в имении под Нежином. Этим неопределенным слухам не хотелось верить, была смутная надежда, что мы еще увидим в своей среде всегда бодрого, жизнерадостного товарища. Теперь сомнениям настал конец: по имеющимся сведениям из Петрограда, Д. К. Заболотный действительно погиб по дороге в Полтавскую губернию, куда он ехал на похороны своей жены. Он был убит на площадке вагона на одной из станций близ Нежина. Какова была ближайшая причина этого убийства, кем оно совершено, остается неизвестным, но кошмарный факт налицо — Д. К. Заболотного не стало, наука потеряла деятельного, энергичного, полного

инициативы работника, а русская общественная медицина — неутомимого, опытного проводника научных идей в практическую сферу борьбы с главным санитарным злом нашей страны — с эпидемическими болезнями...»

Мне вспомнились пушкинские «Дорожные жалобы», которые так часто твердил Даниил Кириллович в трудные минуты своих вечных странствий:

*Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, зная, дороге
Умереть господь судил...*

Значит, так вот и оборвалась эта удивительная жизнь?

*Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне...*

У какого мерзавца могла подняться рука на человека, который по первому зову спешил каждому на помощь?!.

Думать об этом было невыносимо, долго не утихала боль утраты. Встречаясь с друзьями, мы невольно каждый раз начинали вспоминать нашего Даниила Кирилловича, и горе схватывало сердце с новой силой...

И вдруг, разбирая утром очередную почту, я увидел засаленный, истрепанный конверт... Надпись на нем была сделана таким знакомым, неровным, несомненно *его* почерком! У меня задрожали руки, я боялся вскрывать конверт: а вдруг письмо отправлено еще до его гибели?.. Но не могло же оно где-то блуждать целых три месяца!

Нет, Заболотный был жив! Я понял это с первых строк, расплывавшихся перед моими глазами.

«Подавлен потерей Людмилочки, виню себя, не могу себе простить, что раньше не покинул Петрограда, чтобы дать ей возможность поправиться на вольном воздухе, но эпидемия задержала меня, я никак не мог уехать раньше из Петрограда...»

Людмила Владиславовна действительно умерла в дороге...

Ехали они больше месяца. Заболотный был вынужден задержаться по

делам в Киеве. Состояние Людмилы Владиславовны не внушало особенных опасений, и она поехала дальше вместе с Яном и заботливой Катей. Никто не подозревал, что она уже успела заразиться тифом, который убил ее, страшно ослабевшую, буквально за сутки.

Людмила Владиславовна умерла у Кати на руках всего за несколько остановок до Крыжополя. Чтобы труп не сняли с поезда, добросердечный проводник посоветовал Кате посадить покойницу у окна, — «як будто она живая...».

Так и приехала Людмила Владиславовна в те края, где надеялась найти спасение. А впереди поезда летела телеграмма, которую отправили, когда еще никто не чаял страшного конца: «Встречайте, еду...»

Даниил Кириллович пытался вернуться в Петроград, но фронты гражданской войны перерезали все дороги, и ему пришлось остаться пока в Чеботарке.

«Вспоминаю слова Милочки, — заканчивал свое письмо Заболотный. — Нужно жить хорошо и правдиво, — и это меня поддерживает в тяжелое время и во время забот. Красоты много в природе, а о правде и науке нужно позаботиться...»

Прочитав эти слова, я понял: горе не сломило Даниила Кирилловича. Мы ещё повоюем!..

И верно: письма, которые я потом с большими перерывами получал от Заболотного, все время рассказывали о каких-нибудь новых начинаниях «старого чумагона». То промелькнет скупая фраза: «Сегодня продал Милочкино пальто, гроши виддав на школу». То он пишет, что усиленно хлопочет об открытии в родном селе какой-то профтехшколы: «Почти год я уже живу в селе. Какие перемены тут произошли по сравнению с теми, когда приезжал сюда ще юнаком! Появилась тяга к книжкам, интерес к знаниям. Война и революция ставят перед селянами такие проблемы, каких никогда не знало старое житье. В великих трудностях нарождается новое. Буде ясна зоря!»

То Даниил Кириллович вдруг сообщает мимоходом, что, кроме Ян-Гуя, он усыновил еще двух «дуже гарных хлопчиков» — Андрея Жванецкого и Тимофея Вихрестюка. А в другом письме забавно хвастает, что его назначили «аж комиссаром просвещения и здравоохранения» всей округи, и приписывает:

«Кое-кто из знакомых все допытывается, почем я, «видный ученый», не уеду вслед за ними за кордон. Нет, то не мой путь; лучше есть одну картошку но быть со своим народом в такой тяжкий для него час».

Петроград все еще отрезан от него. Но Даниил Кириллович не может

больше усидеть в такое грозное время в тихой Чеботарке. Рискуя жизнью, он пробирается по степным дорогам, где рыщут банды Махно, лихой Маруси и других атаманов, в только что освобожденную Красной Армией Одессу.

В Одессе бушует сыпняк. Даниил Кириллович организует бактериологическую лабораторию, собрав для нее по всему городу случайно уцелевшее оборудование. Открывается в Одессе медицинская академия, потом переименованная в институт, — и он берет на себя руководство кафедрой эпидемиологии. Возникает угроза заноса чумы из Турции — и Заболотный объезжает все Черноморское побережье, организуя санитарные заставы, чтобы преградить дорогу «черной смерти».

Но и этого ему мало. Он еще находит время открыть в Одессе — один из первых в нашей стране! — Дом санитарного просвещения, сам читает в нем лекции и пишет популярные брошюры на самые различные темы: «Заразные болезни и как от них уберечься», «Вісті до селян про науку і народне здоровля на Україні»...

Из газет я узнаю, что Заболотный избран членом Центрального Исполнительного Комитета Украины. Письма становятся все реже: видно, Даниила Кирилловича совсем захлестнули заботы. Но я надеюсь его скоро увидеть: весной 1922 года в Москве намечается очередной съезд бактериологов и эпидемиологов. На него Заболотный должен непременно приехать.

И вдруг синим апрельским вечером телефонный звонок. Я снимаю трубку и слышу прерывающийся, глухой голос Василия Леонидовича Омелянского:

— Вы слышали? Нет больше нашего старого Данилы... Скончался три дня назад от тифа. Нет, к сожалению, проверено... Завтра в Народном доме устраиваем гражданскую панихиду, — голос его совсем обрывается...

Значит, так и не удалось нам свидеться?.. Утром я все еще надеюсь, что страшная весть опять окажется ложной. Но ее без слов подтверждают опечаленные лица всех друзей Заболотного, кого я ни встречу. Весь день я работаю, словно в черном тумане, а вечером бреду по весенним улицам в Народный дом.

Я вошел в прокуренный зал в тот момент, когда Василий Леонидович говорил:

— Теперь, когда его уже нет с нами, я благодарю судьбу за то, что она на долгие годы свела меня с ним. За все это время я имел множество случаев видеть и наблюдать Даниила Кирилловича в его повседневной жизни, в тысячах мелочей, которые ускользают от внимания посторонних,

но которые, как кто-то справедливо заметил, сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела...

Было видно, что Омелянский очень волнуется. Он начал наливать воды в стакан. Стояла такая тишина, что отчетливо раздалось на весь зал постукивание графина о стакан. Василий Леонидович налил воды, но так и не выпил ее.

— И я научился любить Даниила Кирилловича — любить за его широкое и благородное сердце, за его на редкость чуткую, самоотверженную и нежную душу. Это был человек порыва, душевной эмоции, а не холодного расчета, большой энтузиаст, весь преданный служению идее... Он весь жил «вне себя», для других, всю свою энергию употреблял на борьбу с враждебными человечеству силами, но только не с воображаемыми волшебниками и великанами, а, напротив, с микроскопическими, но более действительными врагами, угрожающими человеческой жизни. Интересы дела и служение ему он всегда ставил на первом месте, забывая о себе...

Омелянский опять остановился, чтобы выпить, наконец, давно Налитой в стакан воды.

— Выйдя из народа, Даниил Кириллович до конца жизни сохранил живую связь с ним, близко принимая к сердцу его невзгоды и горести, — продолжал он хриплым голосом. — Где было можно и где он был в силах это сделать, он не задумывался перед самой широкой, самоотверженной помощью. Крайне беспечный и до последней степени непрактичный, почти беспомощный в денежных делах, он постоянно нуждался в средствах, хотя и получал их достаточно. Еле сводя концы с концами и живя «от двадцатого к двадцатому», он умудрялся широко благотворительствовать и, не задумываясь, отдавал нуждающимся последнюю бумажку, завалывшуюся в его кармане. Не многие знают, что он и его жена дали образование и обеспечили средствами пять или шесть крестьянских детей из его родного села Чеботарки Подольской губернии. Обаянием своей личности Даниил Кириллович сразу же привлекал к себе сердца окружающих. Нельзя было знать его и не любить...

Дальше я не мог слушать. Наступая на чьи-то ноги, я начал торопливо пробираться к двери.

Да, редеют наши ряды, редеют!.. Один за другим уходят бойцы. И нам, оставшимся, приходится смыкаться теснее. Они уходят, а нам надо жить и продолжать свои нелегкие обязанности...

Я готовлю материал к съезду и все время вспоминаю Заболотного. То подвернется под руку старая фотография, еще маньчжурских времен, то

засохший цветок, которым заложил он страницы журнала. Особенно тоскливо вечерами, когда все в доме притихнет и ты остаешься наедине с воспоминаниями.

В один из таких вечеров в прихожей раздался звонок. Домашние куда-то ушли, пришлось идти отпирать самому.

Я с трудом открыл дверь, путаясь в бесчисленном множестве хитрых замков и засовов, оставшихся от недавнего «смутного времени». На еле освещенной лестничной площадке стоял сутулый человек в потрепанной шинели.

— А ну, поворотись-ка, сынку. Экий ты стал сивый какой! — сказал он, протягивая ко мне руки.

И только тогда я осознал до конца, что в самом деле вижу перед собой живого Даниила Кирилловича!..

«ЛЮБИТЕ НАУКУ И ПРАВДУ»



— Хоть и хоронили вы меня заживо, а я живой! И еще долго поживу, посмотрите!.. Примета есть такая: кого раньше времени отпели, тому, брат, долгая жизнь, — говорил Заболотный.

И казалось, и впрямь годы не властны над «старым чумагоиом». Вечно он куда-то спешил и по-прежнему успевал делать сотню дел одновременно.

По-прежнему у него никогда не было денег. Обычно еще накануне получки его можно было застать вечерком сидящим в глубокой задумчивости над длинным списком в своем домашнем кабинете, так уставленном цветочными горшками, что люди терялись среди этой зелени, словно в лесу. Против каждой фамилии в списке стояла сумма, которую Даниил Кириллович собирался этому человеку послать. Подводился итог — и всегда оказывался гораздо больше всей зарплаты Заболотного. Тогда Даниил Кириллович поправлял очки на носу и вновь терпеливо принимался за расчеты. Это у него называлось «сводить баланс»...

Встречались мы с ним в эти годы не часто, опять урывками. У меня уже у самого была кафедра в институте и своя научная работа. Но каждая мимолетная встреча чем-нибудь запоминалась.

«Спешите трудиться», — говорил покойный Исаев. Мне вспоминаются замечательные слова и другого русского врача, знаменитого Федора Петровича Гааза, призывавшего в мрачайшую эпоху Николая I: «Спешите делать добро...» Вся жизнь Даниила Кирилловича была последовательным и неуклонным воплощением этих прекрасных заповедей.

Есть хорошая поговорка: «Чтобы быть умным, одного ума мало». У Заболотного был не только светлый ум, но и золотое сердце.

Приезжает откуда-то из Иркутска молодой врач, мечтающий заняться научной работой. Ходит он по Петрограду с деревянным чемоданчиком, чувствует себя неуверенно, робко, одиноко, — ведь ни одна душа его здесь не знает. Приходит он к Заболотному, называет свое имя — и вдруг слышит в ответ:

— Как же, как же, знаю вас! Очень рад познакомиться.

Оказывается, Даниил Кириллович не только читал, но и запомнил коротенькую заметку о чуме в Забайкалье, написанную молодым человеком еще в бытность «студентом и напечатанную в каком-то маленьком медицинском журнальчике, выходившем в далеком Иркутске ничтожным тиражом.

А потом Заболотный ведет молодого врача к себе домой обедать и тут же предлагает поселиться у него. И молодой человек словно попадает в родной дом и, пока не подыскивает себе квартиру, спит на диване прямо в кабинете Даниила Кирилловича, который каждый вечер извиняется:

— Простите, голубчик, больше некуда вас положить. Но я мешать не буду, лампу мы вот так завесим газеткой...

В другой комнате молодого человека и в самом деле пристроить невозможно, потому что квартира Заболотного похожа на общежитие. В ней в это время живут В. Н. Космодамианский, ставший ныне профессором, и его жена, ассистент Даниила Кирилловича Тихомиров, приемный сын Ян Данилович, племянник Федя и еще какой-то родственник жены Космодамианского...

Бывали у него в гостях Горький, Луначарский, Иван Петрович Павлов. А зайдя как-то однажды поздно вечером к Даниилу Кирилловичу, я неожиданно застаю у него в квартире чуть ли не взвод солдат. Они заняли все диваны, кровати, часть укладывается спать прямо на полу.

Оказывается, несколько месяцев назад большая группа солдат одного стрелкового полка, стоявшего в Пскове, приехала на экскурсию в

Петроград, в Институт экспериментальной медицины. Привезли их, собственно, чтобы познакомить с работами академика Павлова. Но Даниил Кириллович, узнав об экскурсии, конечно, не упустил случая познакомить красноармейцев и с увлекательным миром микробов.

Он привел их в свою лабораторию, сам все показывал, объяснял. А узнав, что среди солдат большинство украинцев, повел их всех потом к себе на квартиру, поил чаем с вишневым вареньем, присланным из «ридного села», и до позднего вечера пел с ними украинские песни. А перед уходом каждому надарил книжечек с дарственными теплыми надписями: кому брошюру по микробиологии, кому «Кобзаря» Шевченко.

С тех пор у Даниила Кирилловича завязалась переписка с красноармейцами, и каждый раз, когда они приезжают в Петроград, непременно ночуют у своего «батяка».

И глядя, как он — в валенках, в старенькой военной тужурке (не та ли это, что была на нем еще в те баснословно далекие годы, когда ехали мы на чумную эпидемию в Индию?..), в белой папахе на седой голове — поет с солдатами украинские песни и «калякает» о сельских новостях, невозможно поверить, будто перед вами замечательный ученый, пользующийся мировой славой.

А слава его все растет. Он уже дважды академик: Украинской академии наук и Всесоюзной. Он представляет молодую советскую науку на торжествах по случаю столетия со дня рождения великого Пастера и шлет из Франции шуточные открытки-сувениры, сплошь испещренные автографами различных медицинских знаменитостей. А все парижские газеты печатают фотографию, на которой Заболотный пожимает руку швейцару у входа в Институт Пастера. Для буржуазных газетчиков это сенсация, «причуда гения», а для него — элементарная вежливость.

В Копенгагене созывается Международный серологический конгресс, и Заболотный едет туда делегатом от Советского Союза. Датские газеты помещают его портреты с надписью: «Знаменитый борец с чумой». А «старый чумагон», оставаясь верен себе, рассказывая в письме о работе конгресса, не упускает случая пошутить:

«Собрались здесь все светила, и многие пытаются пересветить всех остальных, но без особого успеха...»

Он все успевает. Руководит кафедрой микробиологии Военно-медицинской академии и продолжает читать лекции в бывшем Женском медицинском институте, по-дружески беседует с участниками студенческого кружка микробиологов:

— Нашего полку прибывает. Раньше у нас были только девицы, а

теперь и вьюноши будут. Добре!

Дивчина, год назад приехавшая из глухого полтавского села, делает на заседании кружка доклад вакцинации против холеры, так и сыплет бойко латинскими терминами. Даниил Кириллович внимательно слушает, приложив к уху руку «трубочкой», а потом целует смущенную докладчицу и растроганно говорит:

— Не удивительно, когда ласточки под железной крышей живут. А вот то удивительно, когда из-под соломенной застрехи скворцы вылетают!

И потом каждый раз, придя на занятия кружка, интересуется:

— А как работают скворцы?

Девушки жалуются, что порой нелегко бывает ходить по домам и пробы для анализов собирать:

— Есть еще люди отсталые, Даниил Кириллович, не понимают пользы науки, смеются над нами...

— Ничего, — утешает их Заболотный. — Вы не смущайтесь. Меня за это самое несколько раз спускали с лестницы, а я все-таки возвращался!

Лекции Заболотного никогда не носили академического характера. Одним из первых профессоров он решительно отказался от сухого систематического изложения курса. Его лекции всегда как бы вытекали сами собой из практических занятий студентов. Покашливая и сутулясь, Даниил Кириллович рассказывает по всей аудитории и говорит так спокойно, просто, доступно, то и дело перемежая научные рассуждения шутками, словно не лекцию читает, а беседует с гостями.

Он учит студентов мыть лабораторную посуду, делать прививки, готовить вакцину и старается в каждом разбудить пытлиую, ищущую мысль, не давать ей заснуть, успокоиться.

— Поручил мне однажды Даниил Кириллович провести исследования холероподобных вибрионов, — рассказывал как-то Георгий Платонович Калина-тот самый молодой врач из Иркутска, а ныне давно уже сам профессор. — Начал я работать и вдруг наталкиваюсь на любопытную статью о капиллярном методе выделения холерного вибриона из воды. Так она меня заинтересовала, что решил я заняться проверкой этого метода. Сделал работу и приношу ее Заболотному. Он прочел и говорит: «Любопытно. Но ведь я вам, помнится, поручал работу совсем в другом направлении?»

Начал я оправдываться, а Даниил Кириллович сказал мне тут замечательные слова, которые век не забуду и не устаю повторять и своим студентам.

«Именно так, — говорит, — и делаются иногда больше открытия: в

процессе одной работы исследователь сталкивается с новым, непонятным для него явлением, увлекается им, оставляет основное направление и делает крупные открытия. Никогда не проходите мимо фактов, не имеющих вроде прямого отношения к вашей работе, но привлекающих внимание своей загадочностью или новизной».

Так воспитывал Заболотный молодежь. Растил не просто будущих исследователей, но и людей правильной жизни — прежде всего своим собственным примером.

Выделяет ему Петроградский Совет кубометр дров, — Даниил Кириллович тотчас же отдает их для отопления комнаты, где занимаются кружковцы. Получив гонорар за только что вышедший из печати первый том «Основ эпидемиологии», он тут же покупает учебников и всяких других книг для своих студентов, а вечером, заняв, сразу две ложи в театре, ведет их всех слушать оперу.

«Мои хлопцы», — любовно называет он их. И любят его как родного отца и будущий профессор Павел Кашкин и какой-то «Хведя», которому он посылает деньги, чтобы тот мог окончить школу в Чеботарке.

С родным селом он по-прежнему не порывает связи и каждый год ездит туда хоть на недельку. Там лечит сельчан, делает им прививки, читает лекции в соседних школах, находит время ходить с пацанами на рыбалку. В каждом доме он желанный гость. Со стариками ведет степенные беседы, молодые поверяют ему свои «сердечные тайны».

Его душа не стареет. По-прежнему он увлекается музыкой, часами спорит с Василием Леонидовичем Омелянским о новых книгах.

Сидим мы с ним как-то и ведем весьма научный разговор, а в соседней комнате негромко играет радио, и я вижу, что Даниил Кириллович одним ухом все время слушает его.

— Необходимо брать папулы, еще не подвергшиеся регрессивному метаморфозу, — рассуждаю я, а он вдруг останавливает меня плавным взмахом руки.

— Потом, потом... Сейчас будут передавать гавайские мелодии. Давайте на несколько минут перенесемся на Гавайские острова, как будто мы под сенью пальм и слушаем банджо...

И, откинувшись в кресле, он мечтательно поднимает глаза к небольшой картине в темной рамке, которую я видел то в крошечном домике возле Бессарабского рынка в Киеве, то на белой стене хатки в Чеботарке, то в петербургском кабинете Заболотного: стоя не то чибисов, не то журавлей в рассветном заревом небе над тихой лесной опушкой. Она всюду странствует за ним.

Только самые близкие его друзья знали, что Заболотный все время работает, преодолевая болезни, что у него почти всегда повышена температура, болят суставы и позвоночник, по ночам мучает одышка и схватывает сердце, подорванное ревматизмом. Но он никогда никому не жаловался. А в записной книжке помечал для памяти: «Обязательно следует написать доктору Н.Н., у него такая важная и тяжелая работа, надо его поддержать, подбодрить...»

Ему можно было задать при встрече самый обычный вопрос: «Что поделывали вчера вечером, Даниил Кириллович?»

И услышать совершенно неожиданный ответ: «Вчера? Да, понимаете, мечтал о мире...»

По-прежнему он любит пошутить и умеет это делать.

Сидим мы в туманной от табачного дыма комнате в президиуме затянувшегося противочумного совещания, созванного в Саратове. Даниил Кириллович вдруг тянет из рук Клодницкого блокнот и начинает что-то писать, то и дело останавливаясь и покусывая в задумчивости кончик карандаша. Заглядываю через его плечо — стихи.

*От лазурных небосклонов
Стеньки Разина страны
Шлем вам серию поклонов,
Чумной вспышкой собраны.
Ах! Когда б вы посмотрели
Наше дружное житье!
Веют весело метели,
Прочь несносное нитье!*

Оказывается, это он вспомнил одного из наших старых общих друзей в Петрограде и решил подбодрить его письмецом в стихах.

В начале 1924 года в Институте экспериментальной медицины праздновали юбилей Василия Леонидовича Омелянского, старого друга Заболотного. Перед началом торжественного заседания, смотрю, подходит Даниил Кириллович к юбиляру и зловеще говорит:

— Слушай, Василь, ты меня отпевал заживо, какие-то панихиды по мне устраивал, так я же тебе отплачу сегодня. Страшная будет месть, как у Гоголя...

Как мы, весьма заинтригованные, ни пытались выведать у Заболотного, что же он такое задумал, Даниил Кириллович только

приговаривал:

— А вот увидите...

Вышел он на трибуну, многозначительно посмотрел в сторону Василия Леонидовича и вдруг закатил приветственную речь... на чистой классической латыни!

Да, он не старел, наш «верховный чумагон»! И не скудели, а, наоборот, словно вопреки закону природы, удесятерились его силы, потому что по всей стране боролись теперь с эпидемиями его молодые ученики и помощники.

— У меня теперь сотня рук, — говорил Даниил Кириллович и на титульном листе своего итогового труда «Основы эпидемиологии» написал благодарственные слова: «Посвящается моим дорогим ученицам и ученикам».

Осень его жизни была отмечена щедрыми плодами. Главные загадки «черной смерти», борьбе с которой Заболотный посвятил всю свою жизнь, раскрыты.

Эпидемии еще продолжали вспыхивать то здесь, то там. В 1920 году «черная смерть» снова ворвалась в города и станционные поселки вдоль КВЖД. Но теперь в ней не было уже ничего загадочного. Она снова, как и в 1910 году, началась с заболеваний охотников за тарбаганами. Научные открытия Заболотного и его учеников давали полную возможность предвидеть ее и, конечно, задуть в самом начале, не дав эпидемии перекинуться на города. Но союзниками «черной смерти» — в какой уж раз! — стали война и разруха, в которые были ввергнуты в те годы многие страны.

Гражданская война помешала обессиленной молодой Советской республике вовремя предотвратить и сильную вспышку чумы, снова охватившую в 1923–1924 годах заволжские степи. Но тут уже наука ничего не могла поделать. А началась эта эпидемия, как и предсказывал Заболотный, массовой эпизоотией среди степных грызунов.

Итак, все стало ясным. Настудило время подводить итоги трудной, кровавой, затянувшейся на много лет борьбы. Даниил Кириллович сделал это в статьях «Организация и результаты обследования эндемических очагов чумы», «Чума на юго-востоке СССР и причины ее эндемичности».

Одна за другой уходили экспедиции в степь, противочумные отряды вылавливали и уничтожали заболевших грызунов, лишая «черную смерть» ее древнего, природного убежища. В угрожаемых районах возникали специальные противочумные институты и научные станции. И некоторые, самые дерзкие ученики Даниила Кирилловича даже пытались, наблюдая за

грызунами в степи, на несколько лет вперед предсказывать, когда среди них может возникнуть эпизоотия и появится угроза для людей.

Мне кажется, нет большего счастья для человека, как увидеть своими глазами торжество того дела, которому посвятил жизнь. И Даниилу Кирилловичу выпало такое счастье, — вернее, он его добился самоотверженным трудом.

В одном из писем он привел несколько цифр. Для нас они звучали, словно ликующие фанфары победного марша.

Говорят, будто цифры — скучная вещь. Смотря какие и умеете ли вы их читать, слышать их голос. Я приведу эти гордые, победные цифры, а вы только вспомните, что каждая единица означает чью-то оборвавшуюся жизнь, постарайтесь услышать за каждой из них предсмертный хрип умирающего во цвете лет юноши, плач матери, стон ребенка...

В 1924 году было отмечено во всем мире 420 с лишним тысяч чумных заболеваний, из них в нашей Российской Федерации — 495 случаев.

На следующий год соответственно 138 тысяч и 255 случаев.

В 1927 году — 75 тысяч за границей и всего 71 заболевший у нас.

А в 1928 году, когда чумные эпидемии в других странах опять унесли почти четверть миллиона людей, советским медикам уже удалось практически искоренить «черную смерть» — всего 32 случая заболеваний на огромную Россию, раскинувшуюся через два материка от Балтики до Тихого океана!

Теперь вы понимаете чувства Заболотного, когда он свое письмо закончил пророческими словами первого русского «чумагона» Данилы Самойловича, чьи труды напутствовали нас по дороге в Индию, на первую схватку с чумой?! Вот эти горделивые, трубные слова — во времена Данилы Самойловича они были несбыточной мечтой, а Даниил Заболотный и его ученики сделали их полной реальностью:

«Россия, поражающая стремительно многих врагов, поразила также и то страшилище, которое пагубнее было всех бранноносных народов...»

Это письмо я получил от Заболотного уже из Киева, куда он переехал после того, как в начале 1928 года его избрали президентом Академии наук Украины. Трудно ему было расставаться с городом, где столько довелось пережить за три десятка лет, оставлять гранитные набережные Невы, старых друзей, созданную им когда-то кафедру в институте, веселую семью своих студентов.

Но он привык всегда быть там, где его опыт и знания нужнее всего. А совсем еще юная Академия наук Украины переживала тогда трудные времена из-за засилья всяких явных и тайных националистов.

И чтобы возглавить решительную борьбу с ними и повести всю украинскую советскую науку по верному пути, вряд ли можно было найти лучшего кандидата на высокий пост президента, чем Даниил Кириллович. Ведь вся жизнь его и научная деятельность были воплощением подлинного, непоколебимого интернационализма: родился он на Украине и до последнего дыхания свято ее любил, работал в России и не щадил жизни ради спасения индийцев, арабов, китайцев, персов, монголов, шотландцев и марокканцев, странствуя по всему свету.

Теперь мы виделись с ним совсем редко. Только из писем да стороной из газет узнавал я, что «старый чумагон» не теряет силы, и радовался этому. То приедет в Ленинград смущающийся быстроглазый паренек с коротенькой записочкой от Заболотного с просьбой помочь устроить его в институт и приютить на время, ибо хлопчик этот «дуже талантлива людина». То вдруг я неожиданно получаю из Баку забавную ручку из самшита, а к ней приложен клочок бумаги с шутливым рецептом: «Rp. Stilus vulgaris. D + d. № 1. S. Пользоваться не менее, чем по восемь часов в день для написания выдающихся научных трудов». И я догадываюсь, что неугомонный «чумагон» опять отправился в новое странствие...

А то вдруг раскрываю газету и вижу странную фотографию: среди каких-то почтенных людей, судя по одежде, явных иностранцев, стоит Даниил Кириллович в брезентовом костюме шахтера. Я уже слышал, что донецкие горняки избрали его недавно почетным шахтером и подарили полный горняцкий костюм. Но почему Заболотный принимает в нем иностранных гостей в каком-то явно академическом зале?

Под фотографией приведены слова Заболотного. Они сразу мне все разъясняют:

— За границей ученые одеваются в почетную одежду — костюмы средневековья. Я встречаю вас в почетном костюме моей страны — в одежде рабочего...

Нет, он не сдаётся старости! Организует в Киеве микробиологический институт и сам лично следит, как оборудуются его лаборатории. Заканчивает новый объемистый труд «Курс микробиологии» и одновременно успевает писать популярные брошюры и статьи вроде «Живая теплица микробов», которую я с удивлением и восхищением обнаруживаю, открыв совершенно случайно, ожидая очереди в парикмахерской, очередной номер журнала «Гигиена и здоровье рабочей и

крестьянской семьи». Сколько таких статей затерялось в подшивках бесчисленных газет и журнальчиков, выходявших в те годы!

А в своей коротенькой автобиографии, напечатанной как-то в «Огоньке», Заболотный лишь мимоходом упомянет об этой бесценной работе по распространению последних достижений науки среди широчайших народных масс, отнимавшей у него немало времени и скудеющих сил: «...пробовал неоднократно свои силы по популяризации научных знаний...»

Вот передо мной тоненькая брошюрка, ее можно носить в кармане: «Письма к крестьянам о здоровье». «Учитесь, брати мои, думайте, читайте!» — поставлены эпиграфом на титульном листе слова Тараса Шевченко. И о чем только не беседует Заболотный в этих «письмах»! Тут и вопросы политики, и о значении науки, и о том, как микробы повышают плодородие почвы, и о заразных болезнях, и советы о том, какой должна быть изба, усадьба, пища крестьянина. Одна глава специально называется «Деревенские невзгоды».

И все это поражает не только умением доходчиво и ясно излагать самые современные научные достижения, но и глубочайшим знанием жизни, деревенского быта. А какой точный, образный, меткий язык! Почему бы не переиздать эти «письма» сейчас вместо некоторых нудных, косноязычных брошюр и листовок?

Поздней осенью 1929 года Даниил Кириллович ненадолго приехал в Ленинград.хлопот у него выдалось много, он передавал свои институтские кафедры, и мы виделись всего несколько раз, да и то как-то на бегу. За несколько дней до отъезда встретил я его поздним вечером совершенно случайно на трамвайной остановке возле Троицкого моста. Погода выдалась ужасная, ветер дул вдоль пустынной улицы, как в трубу. Пока мы ждали трамвая, нас совсем замело липким, сырým снегом.

Мой трамвай пришел раньше. Я вскочил на подножку, а Даниил Кириллович остался ждать. Он махал мне рукой, пока его не скрыли из глаз снежные вихри.

Спустя две недели, развернув утром «Ленинградскую правду», я прежде всего почему-то увидел коротенькую заметку, затерявшуюся на третьей странице:

«Киев. 26 ноября. Президент Всеукраинской академии наук Д. К. Заболотный заболел воспалением легких. Положение его признано чрезвычайно серьезным».

Я уже собрался ехать в Киев, но начали приходить довольно успокоительные вести: состояние Даниила Кирилловича как будто

улучшается, температура снизилась до нормы, за ним наблюдают опытные профессора Стражеско и Губергриц. Ухаживать за больным уехали его племянник Федя и Ян-Гуй, пообещав подробно сообщать мне о ходе болезни.

И вдруг шестого декабря телеграмма от Яна:

«Положение ухудшилось, подозревают сепсис...»

Когда после двух бесконечных дней, пока поезд тащился по заснеженным полям и лесам из Ленинграда в Киев, я увидел Заболотного, то сразу почувствовал: дело плохо... Он похудел, лицо осунулось и побледнело, глаза лихорадочно горели, дыхание стало учащенным и хриплым.

— И ты здесь? — сказал он, увидев меня, и, кашлянув, тихо добавил: — Бачиш, як я спаршивив... Не вытянуть мне.

Но тут же с надеждой добавил:

— Надо бы исследовать мокроту, нет ли там стрептококка. Может быть, удастся сделать вакцину.

Даже в такой момент он оставался исследователем и мечтал создать новую вакцину, которая спасла бы жизнь не только ему, но и многим другим людям!

Днем и ночью у его постели дежурили опытные профессора — и киевские и примчавшиеся из других городов. Бросив все дела, спешили в Киев с разных концов страны ученики Заболотного. Но чем могли мы помочь ему в этом последнем поединке, который каждому приходится вести один на один?..

Стокгольм, Париж, Берлин каждый день запрашивали о его здоровье. А оно ухудшалось с каждым часом. Воспаление легких, эндокардит, спондилит, полиартрит — дни его были сочтены...

Даниил Кириллович сделал как-то резкое движение и вдруг сказал:

— Я не бачу левым оком.

Врачи нашли эмболию сетчатки. Это грозило потерей зрения.

— Как же я стану работать с микроскопом? — едва слышно проговорил Заболотный. Потом, после долгой паузы, с надеждой сказал: — Впрочем, в микроскоп можно смотреть и одним оком...

Умирал он трудно, боролся еще целую неделю, не сдаваясь до последнего дыхания. Уже меркло сознание, и ему все казалось, будто снова он едет куда-то на эпидемию...

Последний раз он посмотрел уже тускнеющими голубыми глазами на любимую картину с отлетающими журавлями, на пышный букет цветов на столике возле кровати...

Уже путал он лица склонившихся над ним врачей и друзей. И вдруг снова страшным усилием воли Заболотный на какой-то миг отогнал смерть, потянулся к Яну и Феде и отчетливо, внятно проговорил:

— Дити дорогийэ, любить науку и правду! Дыхание его стало совсем слабым, едва слышным.

И вот его уже не слышно совсем...

Было десять часов двадцать семь минут вечера 15 декабря 1929 года...

Поздно ночью, вернее, уже под утро, нигде не находя себе места, я зашел в опустевший кабинет Заболотного. На столе грудой лежали письма, которые он уже не прочтет. На них придется отвечать нам.

Одно письмо было из Франции. Пастеровский институт приглашал Даниила Кирилловича в Париж на свою очередную научную сессию.

А на другом письме — треугольничке из линованой мятой бумаги, вырванной, видимо, прямо из школьной тетради, — адрес был написан с ошибками, неуверенной, робкой рукой, еще не привыкшей держать перо. Я вскрыл письмо и прочитал:

«Шановний Данило Кирилович, дуже вам вдячна, що прислали таке гарне на спідницю, пришліть, як можна, ще щось червоне у крапочку на кофточку...»

Эти два письма — таких разных, но лежавших рядом и адресованных одному человеку, — вдруг с особой силой заставили меня почувствовать, как много людей на белом свете осиротело без Даниила Кирилловича. Он был нужен всем: и виднейшим ученым и простой крестьянке.

Не только ученый мир — его знал и любил народ. Рядом с академиками у гроба Заболотного стояли железнодорожники и шахтеры. И когда мы несли его гроб через весь Киев на вокзал, все улицы и переулки были заполнены народом и на каждом доме пронизывающий ветер колыхал траурные флаги.

Приехавший из Москвы А. В. Луначарский произнес речь на гражданской панихиде.

— Правительства Союза и РСФСР поручили мне выразить ту скорбь по поводу утраты, которой полны трудящиеся Союза, и благодарность народов Союза памяти великого ученого за его активное участие в социалистическом строительстве...

Луначарский вспомнил, как уже не однажды разносился слух о смерти Даниила Кирилловича и как, читая собственные некрологи, шутил Заболотный: «Есть такое поверье: кого раньше времени отпели, тому долгая жизнь...»

Да, мы хоронили его уже не первый раз. Но теперь без всякой надежды

на воскрешение.

— Скорбя о кончине нашего ученого и общественника, отмечая его заслуги перед рабочим классом, — закончил свою речь Луначарский, — с удовлетворением отмечаешь, что его жизнь не прошла даром, что она будет примером для наших молодых ученых, для молодых работников!

А потом последнее путешествие, поезд в траурных венках и лентах, толпы людей, ожидающих среди ночи на всех завьюженных станциях по пути...

Даниил Кириллович завещал похоронить себя в родной Чеботарке, и воля его была выполнена.

«ОН ОТДАЛ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗЕМЛЕ...»



В рассказах бабушки все жития святых кончались одинаково скучно: господь бог за все перенесенные муки возносил праведников к себе на небо, и там они были осуждены до скончания веков уныло слоняться по облакам, каждый день слушать заунывные райские хоры. Вечное заключение без надежды на помилование.

А Заболотный?

«Он отдал свое сердце земле, хотя и носился по свету, как ветер... Как ветер, который после его смерти развеял по миру благоухание цветущих роз его сердца. Прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть всю красоту мира и оставить после себя в нем чекан души своей», — вспоминаю я старинную эпитафию.

Вспоминаю караван мертвецов на пыльной дороге, бамбуковые индийские хижины, где женщины с мольбой протягивали нам своих грудных детей, вспоминаю полные слез и счастья глаза спасенной от

«черной смерти» Лены Мельниковой и как мы поднимали мензурки с разбавленным спиртом в ту новогоднюю ночь в зачумленной Владимировке, и прощальное письмо Ильи Мамонтова.

Часто я вспоминаю Заболотного. Но разве я один его вспоминаю?

Недавно я снова побывал в селе Заболотном, как теперь называется Чеботарка.

Все так же стоит у пруда маленькая хатка под высокой соломенной крышей. Сад разросся и стал еще больше. Жаль только, срубили тот старый орешник, под которым любил работать Заболотный...

И в хатке, превращенной в музей, все осталось по-прежнему. Аккуратно расставлены на полках книги с его пометками и заложенными между страниц сухими цветами. У окна стоит старенький, поцарапанный цейсовский микроскоп за № 143356, что странствовал вместе с Даниилом Кирилловичем по караванным дорогам Персии и сопкам Маньчжурии. А на вешалке висит дырявый соломенный бриль.

Вещи твердят, что хозяин здесь, он только отлучился ненадолго куда-то. И поэтому странно, выйдя из хатки, увидеть гранитный памятник среди цветочных клумб, на серой плите которого написано:

«Тут поховано тіло померлого Президента Всеукраїнської Академії наук, академіка Данила Кириловича Заболотного, селянина села Чебогарки».

Академик и крестьянин — это хорошо сказано!

Памятник, по-моему, нелепый, уродливый, весь из каких-то кубиков и призм. Он совсем не передает душевной красоты и тонкости Даниила Кирилловича. Я бы сказал, что скорее это памятник не Заболотному, а периоду увлечения конструктивизмом...

Но бог с ним, с памятником!

«Люди жаждут бессмертия, — вспоминаются мне мудрые слова Кропоткина, — но они часто упускают из виду тот факт, что память о действительно добрых людях живет вечно. Она запечатлевается на следующем поколении и передается снова детям. Неужели им мало такого бессмертия?»

Тысячи спасенных от «черной смерти» людей — вот настоящий памятник Заболотному, академику и селянину. И, как правильно сказано в надписи, тут «поховано» только тело, а дела его живут. И славное житие Даниила Кирилловича продолжается.

Даниила Кирилловича помнят все, кого он сберег от «черной смерти». «Нет большего счастья, как спасти жизнь человеческую», — гласит древнее изречение. А Заболотный спас тысячи жизней, — вероятно, среди них и

жизни многих из вас, кто читает теперь эту книгу.

Когда ВУЦИК решал вопрос об обеспечении семьи покойного «чумагона», то выяснилось, что никакой семьи у него нет, кроме троих приемных детей, а они стали уже взрослыми и не нуждаются в помощи. Тогда было решено в память Заболотного установить в ряде школ стипендии его имени: пять в чеботарской семилетке, пять в различных профтехшколах и десять в институтах для студентов.

Живут, работают, смеются, растят детей и рассказывают им о «старом чумагоне» спасенные Даниилом Кирилловичем люди. Живут и продолжают дело Заболотного его ученики — на институтских кафедрах, в лабораториях, странствуя по степям и пустыням, чтобы осуществить до конца его заветную великую мечту и стереть с лица земли все болезни.

Из трудов Заболотного, из его долгих странствий по запутанным дорогам «черной смерти» родилась и успешно развивается новая наука — медицинская география.

Экспедициями Л. А. Зильбера, Е. Н. Павловского, А. А. Смородинцева в дебрях Приморья открыты и изучены природные очаги опаснейшей болезни — таежного энцефалита. Н. И. Латышев исколесил все пустыни Средней Азии, изучая пендинскую язву. Профессор Л. М. Исаев, студентом ловивший вместе с Даниилом Кирилловичем первого чумного тарбагана, тридцать лет жизни потом отдал распутыванию загадок чудовищной ришты и других тропических болезней.

Экспедиции отправлялись в Китай, в Монголию, в Иран. Но о каждой такой эпопее надо писать отдельную книгу...

Эти болезни не только изучены. Многие из них уже навсегда уничтожены. Стерты с лица нашей советской земли малярия, холера, оспа, тиф и, конечно, чума, с которой всю жизнь воевал Заболотный.

Пока одни отважные исследователи странствовали по лесам, пустыням и тундрам, чтобы открыть и обезвредить все природные очаги опасных болезней, другие ученые создавали в лабораториях спасительные лекарства, открывали новые лечебные вакцины, если надо, проверяя их на самих себе по примеру Заболотного, Хавкина, Мечникова, Гамалеи.

До 1945 года ни один врач на свете не мог похвастать, будто ему удалось вылечить человека, заболевшего легочной чумой. Несколько сомнительных случаев, описанных в различных журналах, вызывали у медиков большие подозрения: может, то была вовсе не «черная смерть»? Легочная чума сжигала человека в два-три дня, и редко когда удавалось отвоевать хотя бы еще один день жизни.

Только однажды Даниилу Кирилловичу Заболотному ценой

неимоверных усилий удалось растянуть поединок с «черной смертью» до девяти дней. Но исход его остался тем же: смерть победила...

Но врачи не сдавались. Они старались как можно детальнее разобраться во всех тонкостях течения болезни, чтобы найти ее уязвимое место. После многих лет поисков и опасных опытов группе советских ученых во главе с профессором Н. Н. Жуковым-Вережниковым удалось, наконец, найти надежную защиту и от легочной чумы.

И помогли им в этом открытия, сделанные Заболотным еще шестьдесят с лишним лет назад во время его первой схватки с «черной смертью» в нищих кварталах далекого Бомбея. Помните, как заинтересовало Даниила Кирилловича, какое громадное значение для спасения больного имеют защитные силы его собственного организма? «Ход выздоровления при чуме может служить блестящим примером важной роли, которую играют фагоциты в подобных случаях», — писал тогда Заболотный.

Оказалось, что именно в этом направлении надо искать ключик от невидимых крепостных ворот, способных надежно преградить дорогу легочной чуме в человеческом организме.

Беда в том, что организм вырабатывает защитные антитела, мобилизует свои оборонительные силы слишком медленно. «Черная смерть» за это время успевает уже поразить все жизненно важные центры. На целых девять дней удалось Заболотному затянуть схватку с легочной чумой, — это был уже путь к победе. Но и такого срока, оказывается, еще не достаточно, чтобы организм успел надежно вооружиться. Как показали исследования профессора Жукова-Вережникова и его сотрудников, для полной мобилизации всех защитных сил организма требуется не менее двух-трех недель, — только тогда он может успешно сопротивляться «черной смерти».

Когда ученые это поняли, им стало ясно и направление главного удара: во что бы то ни стало затянуть бой, всеми силами бороться за каждый час, минуту, секунду жизни больного. Для этого у медицины теперь есть немало средств, неведомых еще полвека назад, когда на руках Заболотного умирал в Харбинской чумной больнице Илья Мамонтов и не было во всем мире человека, способного его спасти.

Теперь дело обстоит иначе. Едва чумной микроб прорывается в организм заболевшего, против него выходит на бой целая оборонительная армия. На чумные палочки прежде всего обрушиваются сильно действующие лекарственные средства, разработанные за последние годы химиками. Они разрушают оболочки бактерий, останавливая наступление

врага.

Враг задержан, но еще не разбит. Он собирает силы и снова переходит в наступление, хотя и с опозданием, но все-таки прорывая первую линию обороны. Тогда в бой вступают свежие подкрепления — чудодейственные антибиотики.

Так, вводя в организм больного все новые и новые лечебные вещества, воздвигая на пути легочной чумы одну оборонительную линию за другой, врачи день за днем отвоевывают у смерти бесценное время, пека не развернутся и не вступят в бой главные силы — защитные антитела, выработанные самим организмом. И «черная смерть» отступает. Человек спасен!

Несколько лет назад, спасая таким комплексным лечебным методом жизнь больного в одной из стран Азии, молодой советский врач Нина Кузьминична Завьялова, как когда-то Заболотный в долине Вейчана, сама заразилась от него легочной чумой. Борясь с напавшей на нее болезнью, она вела дневник и вот что записала в нем:

«...Когда я кончала во время войны медицинский институт в Москве, мне не хотелось становиться чумологом. А теперь мне кажется, что не променяю эту работу ни на какую другую. Даже сейчас я уверена, что это самая лучшая работа на свете. На чуме ты действительно «вытягиваешь» больного, вытягиваешь своими руками, силами наших чудесных препаратов. Смерть рядом, но ты не даешь ей прикоснуться к больному...

И знаешь, что обязательно, во что бы то ни стало победишь ее. Это ты знаешь все время, в этом главное счастье».

Нина Кузьминична Завьялова осталась жива и продолжает научные поиски.

Но нельзя забыть и другое. В те дни, когда Завьялова так мужественно побеждала «черную смерть», — именно в те самые дни! — в Хабаровске шел судебный процесс над японскими военными «медиками» — организаторами бактериологической войны...

И поныне, как это ни кажется чудовищным, невероятным, есть еще союзники и защитники у «черной смерти». В некоторых странах в укромной тишине секретных лабораторий, сокрытых от посторонних глаз за семью замками и высокими оградами, зловещие двуногие существа, умеющие мыслить и внешне поразительно похожие на людей, выращивают смертоносные бактерии не ради спасения человечества, а в надежде убить, уничтожить его.

Передо мной коротенькая газетная заметка, совсем свежая: она датирована августом 1962 года, Я счастлив, что Заболотный не читал ее.

«Лондон, 3 августа (ТАСС). Английское военное министерство приняло решение создать комиссию по расследованию обстоятельств заражения и смерти сотрудника военного исследовательского бактериологического центра Англии Джеффри Бэкона, который скончался 1 августа от легочной чумы. Комиссия будет работать за закрытыми дверями.

Бактериологический исследовательский центр, в котором работал Бэкон, расположен в пяти милях от города Солсбери (Южная Англия). В лабораториях этой тщательно охраняемой «фабрики смерти» велась подготовка к войне с применением самых смертоносных бактерий».

Понимают ли они, что творят?

Что делать: из жизни, как и из песни, слова не выкинешь. Борьба не кончена, она продолжается. И в той же самой газете, где сообщается об этих чудовищных преступлениях, я читаю об исследованиях в лаборатории известного профессора З.В. Ермольевой пока еще загадочного интерферона, в котором некоторые ученые сейчас видят «золотой ключик» против многих болезней, и о том, как в поисках новых лекарств молодой советский медик Анатолий Шаткин, рискуя остаться слепым, прививает себе трахому....

Итак, борьба продолжается...

«Надо верить, что все это не даром, — писал, умирая, Илья Мамонтов (вы помните его последнее письмо?), — и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь...»

Борьбе за человеческое счастье, за это прекрасное будущее отдал свою жизнь Даниил Кириллович Заболотный, и потому он бессмертен.

Смерть не властна над «старым чумагоном», преследовавшим ее по всему свету.

ОТ АВТОРА

Воспоминания многих людей, хорошо знавших Даниила Кирилловича Заболотного, я передал одному вымышленному собирательному литературному персонажу. Но все, о чем он рассказывает, не выдуманно, все было на самом деле: в каждой мелочи жизни Заболотного я стремился оставаться верным фактам. Все цитаты — из подлинных писем и документов.

Мне казалось, что такой литературный прием сделает рассказ более занимательным, не лишая книгу ни точности, ни достоверности.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО

1866, 28 декабря — В семье К. П. Заболотного, крестьянина села Чеботарки, родился сын Даниил.

1885 — Даниил Заболотный поступает на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе.

1889 — За участие в студенческой сходке Заболотный исключен из университета и посажен в тюрьму. Освобожден через три месяца вследствие тяжелой болезни и поступает практикантом на Одесскую бактериологическую станцию.

1891 — Сдает экстерном экзамены за полный университетский курс и получает степень кандидата естественных наук за первую научную работу — «Микробы снега». Поступает на третий курс медицинского факультета Киевского университета.

1893 — Вместе с И. Г. Савченко проводит героический опыт по заражению себя холерой для проверки правильности иммунизации.

1894 — Окончив медицинский факультет, Д. К. Заболотный работает врачом на эпидемиях холеры и дифтерии в Подольской губернии. Организует бактериологическую лабораторию в Каменец-Подольске.

1895 — Избран по конкурсу на должность ассистента кафедры общей патологии медицинского факультета Киевского университета.

1897 — Поездка на чумную эпидемию в Бомбей в составе русской экспедиции под руководством профессора В. К. Высоковича. Поездка в Джидду и другие порты Аравийского полуострова для изучения возможных путей переноса чумы.

1898 — Работа в Пастеровском институте в Париже по приглашению И. И. Мечникова. Экспедиция в Монголию и в Китай для изучения эндемичных очагов чумы. Организация первой в России кафедры медицинской микробиологии при Женском медицинском институте в Петербурге.

1899 — Экспедиция в Персию, Аравию и Месопотамию. Д. К. Заболотный впервые выдвигает гипотезу о роли диких грызунов как хранителей и источников чумы в природе.

1900 — Поездка на вспышку чумы в Глазго, в Португалию и в Марокко. Борьба с чумной эпидемией в Поволжье (Владимировка).

1903 — Выходит в свет двухтомный курс лекций «Основы общей микробиологии».

1905 — У себя на квартире Даниил Кириллович устраивает перевязочный пункт для рабочих, раненных во время расстрела демонстрации 9 января. Читает лекции для врачей на курсах при Институте экспериментальной медицины.

1906 — Выступает на Международном конгрессе по сифилису в Берне в качестве основного докладчика от России.

1907 — Опубликована монография «Сборник работ по чуме». Поездка на чумную эпидемию в Астраханскую губернию. Выступает с докладом об исследованиях сифилиса на Международном гигиеническом конгрессе в Берлине.

1908 — Защита диссертации «К вопросу о патогенезе сифилиса» на степень доктора медицины. Экспедиция на холерную эпидемию в Поволжье.

1909 — Опубликовано руководство «Общая бактериология». Борьба с холерной эпидемией в Петербурге.

1910 — Руководит вместе с В. К. Высоковичем ликвидацией чумной эпидемии в Одессе, В декабре посещает Харбин, где также началась эпидемия.

1911 — Научная экспедиция на эпидемию легочной чумы в Маньчжурии. Возле станции Борзя пойман чумной тарбаган и впервые выделена от него чистая культура чумной бактерии. Участие в Международной конференции по борьбе с чумой в Мукдене в качестве делегата от России.

1912 — Поездка в Астраханскую губернию и в Туркмению для организации борьбы с чумой.

1913 — Руководство исследовательскими отрядами Института экспериментальной медицины для изучения эндемичных очагов чумы на юго-востоке России. Организация первых в истории противочумных лабораторий.

1914-1917 — С начала первой мировой войны занят организацией борьбы с эпидемиями на Галицийском, Западном, Северном, Кавказском фронтах и в тылу.

1918 — Руководит борьбой с эпидемией холеры в Петрограде. Поездка на эпидемию в Поволжье и на Украину.

1919 — Отрезанный войной от Петрограда в родном селе Чеботарке,

переезжает в Одессу, где становится первым ректором медицинского института. Борьба с сыпным тифом.

1921 — Избран членом ВУЦИК. Организует в Одессе Дом санитарного просвещения.

1922 — Избран действительным членом Академии наук Украины.

1923 — Избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

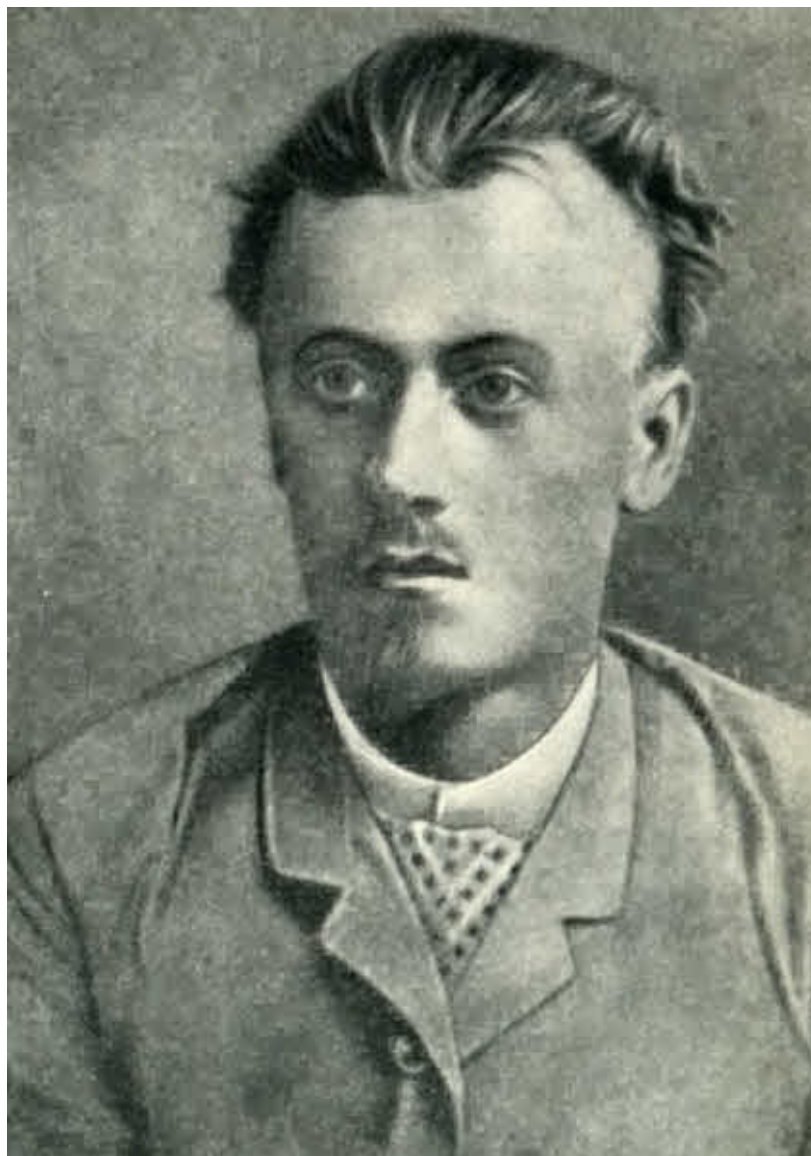
1924 — Назначен начальником кафедры микробиологии Военно-медицинской академии в Ленинграде.

1926 — Избран действительным членом Академии наук Советского Союза.

1928 — Избран президентом Академии наук Украины и переезжает в Киев. Организует при академии Институт микробиологии и становится его первым директором.

1929, 15 декабря — Даниил Кириллович Заболотный скончался. Похоронен с воинскими почестями в родном селе Чеботарке (ныне село Заболотное Винницкой области).

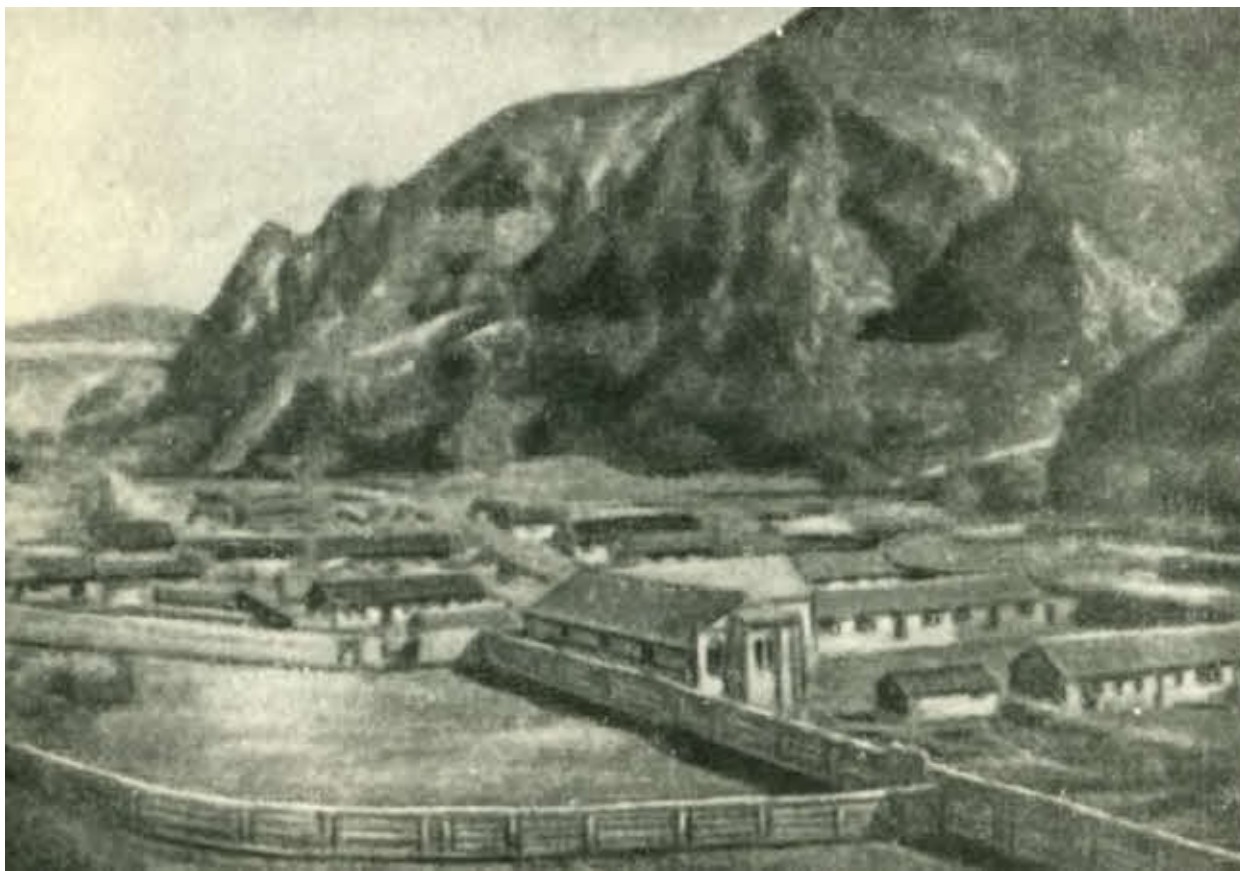
Иллюстрации



Дани Заболотный, годы учебы в Новороссийском университете.



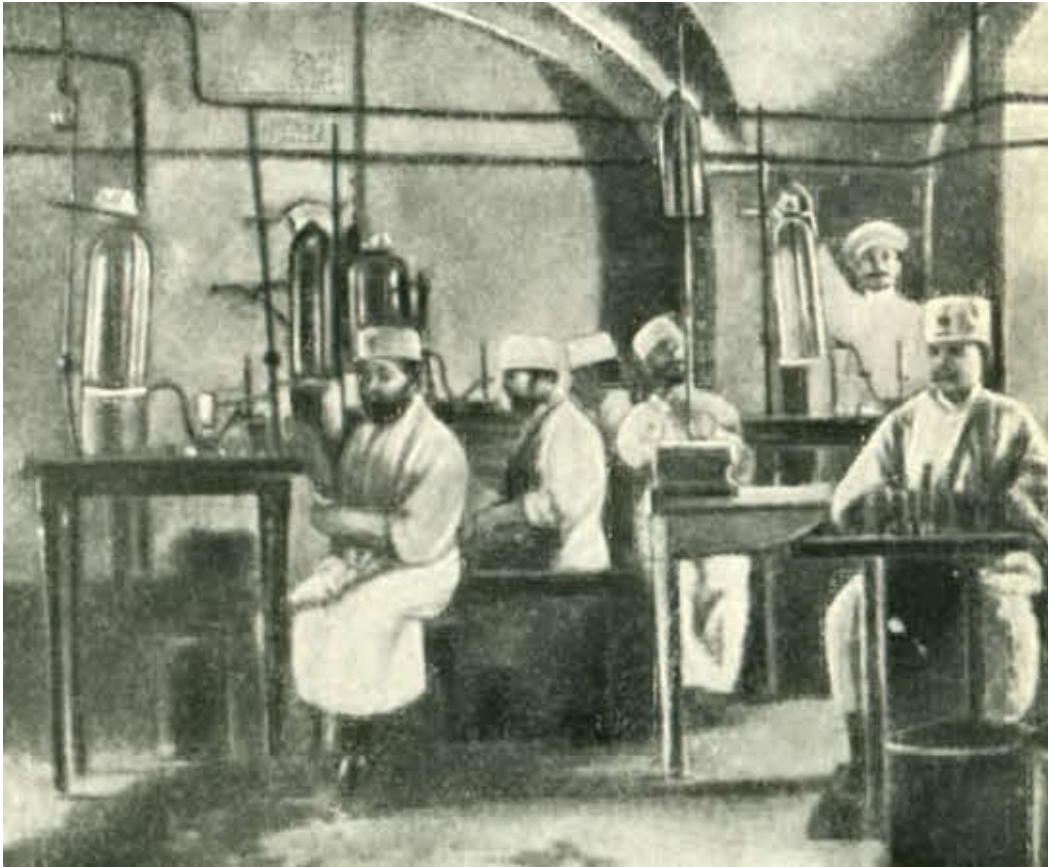
Такие костюмы надевали в старину врачи, отправляясь на борьбу с чумой.



Почему «черная смерть» облюбовала эти тихие сидения Вейчана?



Прямо из воды поднимаются угрюмые стены «Чумного форта»



В лабораториях форта готовят спасительную сыворотку и вакцину.



*Днем и ночью в любой уголок Харбина готова выехать карета
«летучего отряда»*



Изолятор был устроен в теплушках прямо во дворе Московского чумного пункта в Харбине.



Илья Мамонтов уже знает, что жить ему осталось всего несколько часов



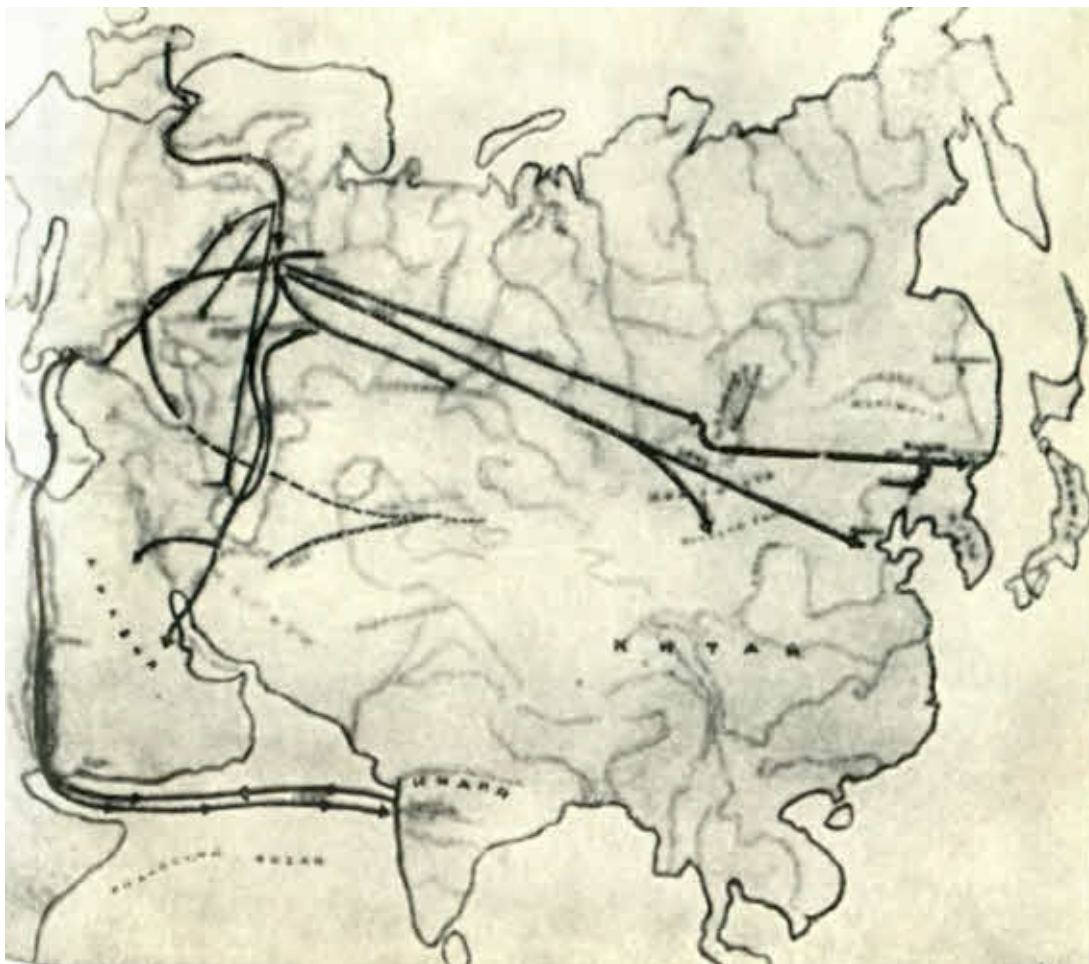
Даниил Кириллович Заболотный среди участников Маньчжурской противочумной экспедиции.



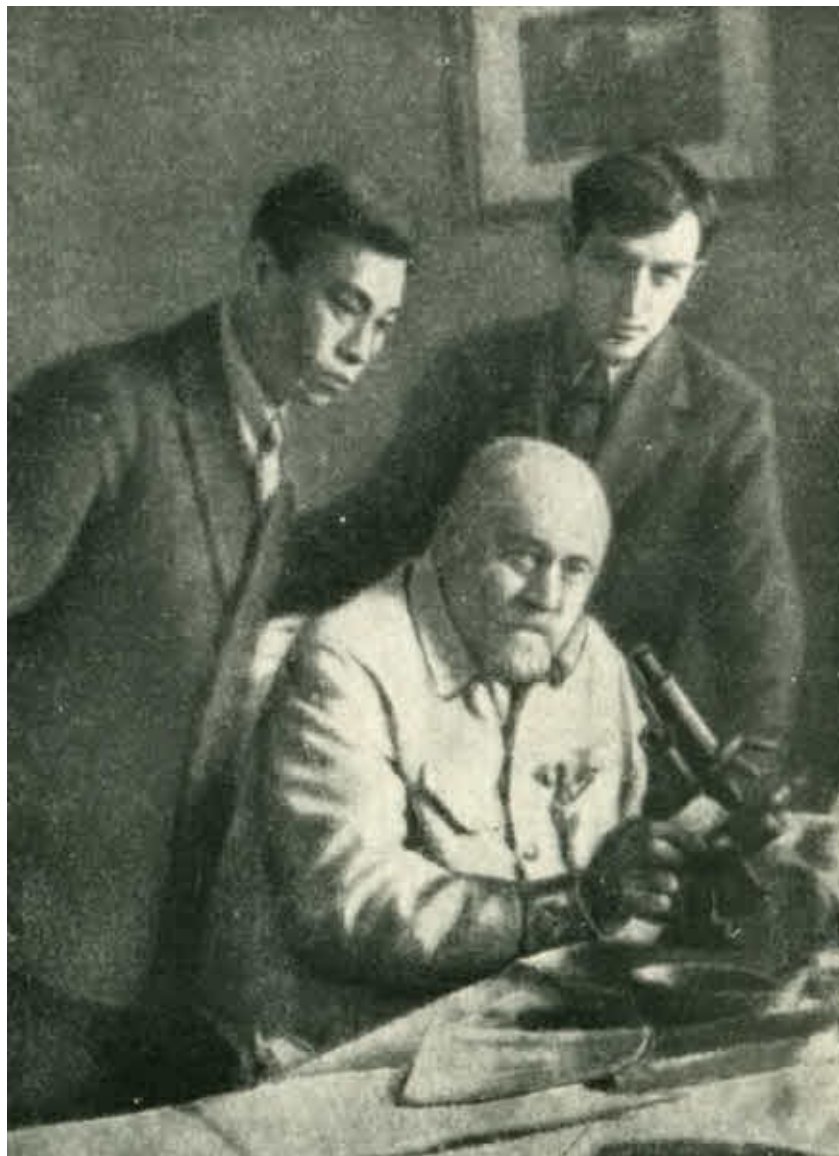
Чучело тарбагана по праву украшает кабинет Заболотного.



Ипполит Александрович Деминский



Во, сколько пришлось постранствовать «старому чумагону», чтобы узнать, наконец, где же прячется «черная смерть».



Даниил Кириллович Заболотный с племянником Федей и приемным сыном Ян-Гуем.



Людмила Владиславовна Заболотная-Радецкая.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТОЙ ПАМ'ЯТИ
ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ
ЗАБОЛОТНОЙ-РАДЕЦКОЙ,

*беззаветно работавшей для проведения науки в жизнь
трудящегося народа.*

П Е Р Е Д М О В А.

Ці листи написані на спомин про спільну з дружиною Людмилою працю в селі Чоботарці.

Приймаючи слабих в садку і в промовах на сільських зібраннях, ми часто балакали з селянами про різні справи.

Тепер ці промови зібрані в одну книжечку.

Хотілося щоби ці «дрібні листи» стали в пригоді громадянам в трудний час будівання нового кращого життя.

Данило Заболотний.

ЧОБОТАРКА
13/II 1919.

И в годы гражданской войны Заболотный продолжал проводить науку в жизнь трудящегося народа» Страница из его книги с посвящением.



Поместье» Д. К. Заболотного. Теперь в этой хате мемориальный музей-заповедник.



«Академик и селянин» Даниил Кириллович Заболотный в своем кабинете президента Украинской академии наук (1928 г.)

БИБЛИОГРАФИЯ

Полный список научных трудов Д. К. Заболотного на русском, украинском и других языках насчитывает свыше двухсот названий. С основными из них, самыми главными, можно познакомиться по двухтомному изданию:

Д. К. ЗАБОЛОТНЫЙ, Избранные труды. Киев, 1956–1957.

Из литературы о Заболотном особенно обстоятельны по материалу и интересны следующие книги:

Я. К. ГИММЕЛЬФАРБ и К. М. ГРОДСКИЙ, Д. К. Заболотный — в серии «Выдающиеся деятели отечественной медицины». Москва, 1958.

К этой монографии приложены очень интересные воспоминания о Заболотном его товарищей и учеников.

Д. І. РУММЕЛЬ, Академік Заболотний. Київ, 1950. (На украинском языке.)

Г. М. ВАЙНДРАХ, Подвиги русских врачей. Москва, 1959.

А. ШАРОВ, Жизнь побеждает. Москва, 1951.

Л. А. ЛИБЕРМАН и М. В. СТАДНИЧЕНКО, Життєвий шлях Данила Кириловича Заболотного. (Біографічний нарис.) «Мікробіологічний журнал» № 7 за 1940 год (на украинском языке).

notes

Примечания

1

До востребования.

2

Ложное заключение (*лат.*).

Жизнеописание (*лат.*).

4

Так называли по старинке казахские степи.

5

Конечная цель *(лат.)*.